

НАТАЛИ

Имя Наташа ей шло — смешливая, белокурая девчушка, с забранными в пучок волосами, веснушчатый округлым лицом и дородной, но не расплывшейся фигурой; и пусть за сорок, пусть разведенка, — было в ней что-то, магнетизм, жадно притягивающий взгляды, к тонким улыбающимся губам, к карим глазам с искорками. Когда я поднялся на восьмой этаж — вызвонить удалось именно ее. Одетая в розовую пушистую пижаму, она открыла дверь в межквартирный коридор безо всякого, выслушала мои объяснения и кивнув, ушла к себе. Должно быть, я поднял ее с постели.

Через месяц снова пришлось подниматься — весна девятого, я работал дома на полставки, искал, что попримичней, а пока не находилось, воевал с умниками, так хитромудро протянувшими кабель, что разветвитель на две квартиры находился двумя этажами выше меня и тремя ниже тех, кто, видимо, давно не пользовался услугами «Городских коммуникаций», проведших интернет. При каждом скачке напряжения в нем скапливалась ЭДС самоиндукции, отрубавшая плавное течение мегабитов — приходилось подниматься, вызванивать кого-нибудь с восьмого, или просить передернуть кабель, если этот кто-то, робкий подросток, не решался открыть дверь к лифтам. Дергать же инженеров, занимавшихся ровно тем же, оказалось напрасным делом, перемещать разветвитель они все одно не стали. Приходилось мириться, ибо монополия.

Второй раз Натали предстала одетой в юбку до колен и белую рубашку, я подумал, соседка уходит, потому спешил разобраться со своими делами. А она, немного помявшись, вдруг спросила могу ли я помочь ей — посмотреть на ее компьютер. Дождавшись зеленого огонька в разветвителе, я последовал в дальнюю квартиру, возле окна, заставленного геранью, фикусами и бальзаминами.

Прихожая, с белоснежными обоями выводила в голубую спальню дверью справа и на кухню напротив. Большая кровать

под тюлевым балдахинном, рядом с которой находилась тумбочка и доска для глажки, полупустая стенка, полураскрытыми дверями обнажающая интимное. Я почему-то подумал совершенно о другой цели визита – вот только ноутбук нашелся мигом, стоял, открытый, на столе у окна, рядом с полками, забитыми медицинской литературой и стихами. Над ним и чуть в стороне висело около десятка икон, обрамлявших по кругу главную – лик спасителя обрамленный жестяными лучами. Обилие символики меня передернуло, я плохо представлял себе, как можно все это повесить в спальне. Молиться, не вставая, конечно, удобно, но...

Натали оборвала ход разбежавшихся мыслей, указав на белоснежный ноутбук.

– Стал очень медленно грузится, может сможете что-то сделать? Я звонила мастерам, но видимо, так плохо объяснила...

Пришлось повозиться. Встроенный антивирус перестал работать квартал назад, а скачать портативный не удалось, пришлось сходить домой и притащить все необходимое. Через час, после удаления около двух десятков вирусов, компьютер заработал более-менее сносно, однако модем, к которому был еще присоединен и домашний телефон, цедил килобитами. Пришлось соединяться с техподдержкой.

– А ты точно никуда не спешишь?

– Просто привык доводить дело до конца.

– Ты мой рыцарь.

– Так и есть, сударыня, – за время, пока программа искала и уничтожала вирусы, мы разговорились, перешли на ты, попили чаю, послушали музыку. Я так и не спросил об иконах, вопрос задал в другой раз, когда пришел скоротать теплый вечер. А тогда – я действительно никуда не спешил, день выдался пустым, и хорошо, что Натали смогла заполнить его. После разговора с мастером, мы вернулись в кухню, почайпили. Натали работала в глазном институте, медсестрой, без малого пятнадцать лет, но квалификацию повышать не спешила – тот вечер и следующий она рассказывала мне истории из больничной жизни, вздорные, жизнерадостные, как она сама. Даже операции,

на которых Натали ассистировала, проходили с огоньком. Да и среди подружек она верховодила, собрав из сестринского отделения общество таких же, одиночек и разведенков. Потчевала их своей неиссякаемой энергией.

Я молча слушал, рассказывать о своих неприятностях, а ничего другого в голову не приходило, не решался. Уже позже... но пока сидел и слушал, пока не позвонила мама, напоминая о времени и себе. В квартире Натали часы оказались только в ее мобильном — белой раскладушке с розовыми цветочками и золотыми листиками. Удивительная история, как она достала его, как и все удивительно в ее жизни.

Вернувшись домой, я долго не мог заснуть, а когда погрузился в сон, снова увидел ее. Очнулся, встрепанный, снова ухнул в небытие и снова узрел Натали, осознав, что хочу ее до невозможности. Проснулся с той же мыслью, долго не решался позвонить, а когда набрал номер, оказалось, она на работе — наверное, к лучшему. Натали работала два через два, по двенадцать часов в день, за двое суток брожение успело немного остыть, так что, когда она сама позвонила, я не напрашивался, но все одно был приглашен посидеть — работа вымотала, ей хотелось простого общения.

— Странно, что мы с тобой не встречались прежде. Ты уверена, что уже десять лет здесь живешь? — Натали улыбалась, кивала, потом вставала к холодильнику, выше ее ростом, и доставала варенье. Ее собственное.

— Наверное, я тебя видела и раньше. Плохо запоминаю лица. Но вот в школе должны встречаться.

— Тогда уж точно бы не заметил. Я на девчонок даже из параллельного внимания не обращал. Была одна, за которой хвостом бегал, но она — беда в том, что сразу после школы стала мне женой.

— Но ведь ты же развелся, так что гармония восстановилась.

— Года не прошло. И без детей.

— Я даже не сомневалась, что до детей вы не догадаетесь, — с ней было удивительно просто. День выдался жаркий, неспешно

он перешел в теплый вечер, озаривший кухню золотом заходящего солнца. Возбуждение, прежде бившее в голову, а после сошедшее, к концу дня снова напомнило о себе, да и Натали верно, виновата — закрывая усталые ноги краем скатерти, подсознательно давала простор жадным мыслям. Вроде бы усталая, но тугое тело, затянутое в знакомую белую сорочку, оставалось напряженным как тетива.

После, узнав, что она собирается провести дачу, я отдал ей раскладушку, одну из многих, оставшуюся в наследство от отца, как и спальные мешки, палатки, да многое что, что удалось вынести после разорения склада, который он, уже будучи на пенсии, сторожил. Отбытие длилось недолго, меньше недели — едва вернувшись, Натали пригласила с собой, в монастырь в центре города. Я поднялся на восьмой и долго ждал, пока она запирает входную дверь, нашептывая что-то про себя. Я спросил, молитва ли это, Натали кивнула. Она не стеснялась своей религиозности, но и не выпячивала ее, как многие, я не сомневался, что на шее у нее крестик, но ни разу не видел его.

В автобусе разговор снова зашел о вере, я вдруг вспомнил, что в тринадцать хотел стать священником — до тех пор, пока не узнал в точности, что представляет собой профессия жреца культа. А мне хотелось разве что стать психологом без диплома, отчасти я и занимаюсь этим сейчас, через всемирную паутину пытаюсь помочь ближнему своему за скромную плату, уходящую работодателю. Натали улыбалась глазами и только тень улыбки играла на тонких губах.

— Я чуть не стала монахиней в двадцать. Так что не ты один, мой рыцарь, оказался перед выбором.

— А что помешало? — она пожала плечами, разное. Прежде всего, учеба, да и собственная ветреность, ну сам посмотри, какая из меня монахиня. Я ведь хохотушка и розовая девочка, таких не возьмут. Я люблю господу нашего, но...

— Странную любовь? — кивнула в ответ: в монастыре одна строгость и столько непонятных, ненужных, да и лишних канон, на которые особенно сейчас, ей странно смотреть. Конечно,

она соблюдает посты и ходит на исповедь, но не постоянно, а по необходимости.

— Мне кажется, нельзя любить по часам. Иначе получается, что я навязываюсь, — произнесла она.

— А муж? — Натали прожила в браке пять лет и только недавно освободилась. Как и я. Неудивительно, что каждый из нас поначалу хотел все переменить, мы оба вернулись к родителям, вот только она не смогла протянуть дольше полугода, а я до сих пор живу со своей старушкой.

— Ты же должен понимать: в каждом браке отношения разные.

— А он вообще был верующим?

— Он и сейчас верующий, — улыбнулась она.

— А дети?

— Так и не договорились, — и по прошествии остановки, — Нам пора.

Пошли под руку, остановившись перед надвратной иконой, Натали надела платок и повела меня в храм Живоначальной Троицы, пятисотлетние стены пропитались запахами ладана и воска, сейчас на жаре, ароматы тянулись вслед за прихожанами, медленно поднимаясь на верхние этажи. Она сразу пошла в подвал, где располагалась церковная лавка, купила свечки и долго, пока я шарил взглядом по стенам, выбирала образок — знакомой, которой предстояла операция на кишечнике в бесплатной больничке. Советовалась шепотком с молоденькой продавщицей в черном, наконец, та достала иконку преподобного Алексия. Святой сильно походил на спасителя, вот только весь в отрепьях, лохмат и нечесан. Купив, Натали, снова о чем-то шепталась, кивнула и наконец-то повела меня наверх.

Там я снова остался один, пока она отдавала записку священнику, стоял перед иконой богородицы, разглядывая потемневший от времени и чада свечей, вспоминая, что было здесь прежде. Кажется, точно не музей. В монастырских покоях, хорошо помню, находилось общежитие ткацкой фабрики, накрывшейся еще в середине девяностых, тотчас же монастырь отошел к церк-

ви.

Затрезвонил мобильный – мама. Просила купить хлеб. Я коротко поговорил, отойдя к самой иконе, будто с ней разговаривал, только потом узнал, что отчасти так и вышло – изображение называлось хлебной иконой, перед которой я должен ставить свечки для получения хорошей работы. Потом узнал: Натали просила помолиться и за меня.

Мы поднялись наверх, постояли у еще одной иконы богородицы, затем, сходили в другую церковь. Сели на лавочку в теньке: Натали устала. Сперва сидели молча, но моя розовая знакомица не могла утерпеть, стала вспоминать, как полгода назад, поздней зимой, сюда привезли мощи Андрея Первозванного – очередь желающих причастится выстроилась на много километров. Она простояла часов шесть, прежде чем коснулась раки. Морозец стоять не давал, хорошо служки бегали, оделяли страждущих блинами. Правда, по сотне рублей штука.

– Я и говорю: «друзья, ну что же мы стоим, в гастрономе напротив икра куда дешевле, давайте скинемся, поедем как белые люди». И так хорошо: поели блинов с икрой, псалмы попили, чаем согрелись.

Я накрыл ее руку своей. Натали обернулась на храм, потом на меня. Высвободив ладонь, стала что-то искать в сумке.

– Люблю здесь сидеть. Тихо, спокойно. Сразу вся грязь сползает, – и помолчав чуть, прибавила: – Пойдем потихоньку, скоро автобус подойдет.

– Странно все же, – произнес я, поднимаясь. – Ты ведь сама врач, ну не запирайся, с твоим опытом, давно могла стать. А будешь дарить иконку на удачу.

– Поэтому и дарю. Я тебе рассказывала, как у нас хирург больному на ухо локтем надавил во время операции?

Я проводил ее до двери, следующие дни у Натали оказались рабочими, мы собирались снова встретиться, но тут случилась оказия: знакомый забрал машину с ремонта и был готов подбросить до дачи, на четыре дня – по такому случаю Натали взяла выходной. Я напомнил о себе, но получил отказ: буду все время

на огороде, не хочу, чтоб мой рыцарь видел меня невесть какой. И еще надо поглядеть, будут ли забор красить.

Забор покрасили — розовым, конечно. Натали показывала фотографии, сделанные ее раскладушкой, жаловалась, что мальчик, никак не мог поверить, в мою серьезность. «Но я же говорю: „Ты на меня посмотри, какой мне еще забор нужен, не красный же“, а он как раз красную краску принес и белила. Развел, порадовал меня, убил соседей. Убитые соседи на следующем снимке».

Я ей показывал свои снимки, предложил поставить один из понравившихся в качестве заставки на рабочий стол ноутбука. Она отказалась, улыбнувшись, мол, каждое утро, включая компьютер, буду здороваться с моим рыцарем, а его нет. Я возражал, ну почему же, я здесь. Она озорно заискрила взглядом, спросила напрямую, нравится ли мне. Я отвечал, кажется с какой-то обреченностью в голосе — с первого же дня. Натали смутилась, спохватилась, как же так, я столько для нее сделал, а без отдарка до сих пор. Пошли на лоджию, она стала сыпать без разбора кабачки, патиссоны, огурцы, морковь в сумки, набила три, одна порвалась, она немного успокоилась, я принялся откладывать.

— Все точно не дотащу, даже до лифта.

Через два дня снова был у нее. Знакомая привезла малину и щедро оделила подружку, та пригласила разобрать ягоды. Натали, готовя основу для варенья, рассказывала о пациенте: мальчике лет двадцати с большим гонором, даже ей с трудом удалось окоротить требовавшего себе особые условия парня. «Могу поселить в ординаторской, говорю ему, но тогда придется отвечать на звонки».

— Как они без тебя обходятся?

— Иногда звонят, просят придти, подменить. И хорошо, если во второй день, а сразу после смены — я с ног валюсь. Я говорю, миленькие мои, ну совесть поимейте, я и так стараюсь, дайте роздых, — вздохнула и снова улыбнулась: — Не всегда так случается.

Через три дня позвонила, попросила придти. Вернее так, позвонила, но напросился сам, по голосу поняв, насколько Ната-

ли не та, к которой я привык за полтора месяца. Встретила меня у лифта, заранее открыв дверь, знакомая розовая пижама, серое лицо. Проводила в кухню.

— Позвонила сегодня утром в больницу, Сашу готовили к операции, я ей икону дарила, — я кивнул. — Вчера вечером звонила, сказала, вот видишь, даже твой человек божий не понадобился, а сегодня утром умерла. До сих пор не своя, — и тут же: — Не умею я этого делать.

— Чего «этого»? — не понял я.

— Да и она хороша, взяла, хотя заранее знала, что не положит у кровати, не помолится, в церковь не ходит, а она рядом, церковь, в двух шагах, на территории. Божья помощь не получается, раздаю, а только хуже.

— А были другие? — она кивнула.

— С мужем так. И с другими. Я люблю бога, но я не умею делиться им, своей любовью. Я не обрядная, я молюсь, я пощусь, я исповедуюсь, мне все прощается, но другим, вот им — нет. Прости, что я говорю, мне надо не тебя тревожить, а его, он может один сказать. А может и говорит, но не понимаю, не понимаю ничего, — Натали заплакала.

Первый раз видел ее такой, исчезла вся она прежняя, совершенно другая женщина, сорока с чем-то лет сидела передо мной, плакала, не вытирая слез, уставясь невидящими глазами в холодильник и коротко всхлипывала. Я подсел, попытался прижать к себе, она оттолкнула.

— Не надо, я другая сегодня.

— Я знаю, но...

— Не надо, — и вдруг: — Я ведь нравилась тебе.

— Ты мне и сейчас нравишься. Я тебя почти каждый день во сне...

Она хотела закрыть рот рукой, но промахнулась, будто пощечину попыталась вlepить. Сжалась, произнесла «прости», снова долго молчала.

— Ничего не выйдет. Я не такая, — повторила и снова замолчала. Только глаза просили уйти. Им я и подчинился.

Натали позвонила на следующий день, пытаюсь снова предстать прежней. Голос с заметной хрипотцой просил прощения: Натали собиралась на дачу на неделю. А там сам знаешь, связь не ловится. Я молча кивал, пока не сообразил, что Натали не увидит движений головы.

— Поедем вместе.

— Ты же знаешь, я тоже буду не такой. Мне не хочется. Прости, — и тут же: — Зато, когда вернусь...

Связь неожиданно оборвалась, я перезвонил, но Натали больше к разговору о поездке не возвращалась. Говорили о ее делах в больнице, она говорила, я слушал.

Позвонила только через двенадцать дней, до этого домашний отзывался роботом, сообщавшим, что хозяйка пропустила платеж, мобильный недоступен. Сказала, что переехала, теперь до работы всего пятнадцать минут на автобусе, без пересадок. А не другой конец города, час с лишним в одну сторону.

— Ты как будто всем мегаполисом отгородилась, — наконец, произнес я.

— На новоселье не приглашаю, вот разберусь чуть, а то уж очень тут грязно. Перед собой неудобно. Кухня вся черная и холодильник заляпан чем-то. Я тебе позвоню, когда все налажу. Тогда и посидим.

— Буду ждать.

— Посидим, — эхом повторила она, заканчивая разговор. Я положил трубку на базу, молча оглядел комнату. Потом поднялся, смял старую трепаную картонку иконы богородицы и вышвырнул ее в окно. Будто пытался мстить испугавшейся меня чужим подарком.

Через день меня пригласили на собеседование, взяли на работу. Натали могла бы сказать о свечке, поставленной недели назад перед хлебной иконой — но ее не было рядом. Совсем не было.

Начало июня 2016

КАРТА ПАМЯТИ

алаверды моей «Ностальгии»

Сижу перед экраном монитора и заморожено смотрю на заставку: камера движется в кирпичном лабиринте, обходя препятствия, минуя тупики, иногда тыркаясь в них и возвращаясь обратно, чтобы снова и снова блуждать в поисках неведомого, пока я не тронушь мышью или не нажму на клавишу. Как замораживает это блуждание, не знаю, сколько прошло времени, но я по-прежнему сижу перед экраном, не отрываясь, иногда мне кажется, что это я сам брожу в неведомых далях и ищу что-то, давно потерянное, что-то, что так жажду поскорей обрести, и одновременно сижу, ожидая, разглядывая собственные блуждания.

Жизнь состоит из ожиданий, сотканных из спешными перемещениями от одной точки к другой. И даже сами перемещения эти порой состоят из бесконечного ожидания — сидя у окна поезда, самолета, автобуса, глядя на темнеющее или светлеющее небо, на морось или снег, лучи, разбивающие полудрему путника, ждущего своей остановки. Чтобы выйти и пересесть на другой транспорт, который доставит его к другой точке, а покамест его еще следует дожидаться. А затем ждать снова, сидя в проходе или у окна, перемещаясь, или добравшись до места назначения, опять ждать — работы, обеда, отдыха, времени отхода ко сну, — и снова времени отправления рейса.

Я много попутешествовал за свои тридцать лет. Пожалуй, даже слишком много, — с той поры, как закончил областной институт, почти ежегодно менял место жительства. Волею судеб или своей переменчивой натуры, никак не могущей устроиться на одном месте и постоянно гонящей невесть куда, но так получилось, что исколесив половину страны, и даже вернувшись в исходную точку, я все не осядаю, ожидая момента сорваться снова, продолжив нескончаемый путь. И только ожидание, все то же самое ожидание, пока еще сдерживает меня от нового броска в неведомое. В комнате, которую я снимаю у непамятной на лицо

старушки, вещи так и остались не распакованы, всего-то баул и сумка, ничего лишнего, в строгом соответствии с принципом часто летающего самолетом. Десять килограммов ручной клади и двадцать три багажа. Все остальное приходится оставлять на земле, в минувшем. Закупаю лишь то, что пригодится сейчас и на то время, что пробуду в том или ином месте. Ничего сверх, чтобы не обременять излишним скарбом, который все равно придется оставить в точке отправления. А с ним и все, что поневоле пытаешься сохранить — телефоны, адреса, встречи, разговоры, объятия, поцелуи... все, что составляет обыденную жизнь человека, до которой мне по-прежнему очень далеко. Работа, выполняемая мной в разных городах и весях, носит характер вечной командировки, бессменного передвижения — после войны и кризиса и в преддверии нового тысячелетия до которого полгода осталось, кажется, всё и все вокруг стали обладать повышенным содержанием непостоянства. Некой необязательности, будто изначально заложенной в самую основу основ медленно восстанавливающегося после одних потрясений мироздания и готовящихся к неизбежным новым.

Боюсь, и всё мое мироздание, и нынешнее и грядущее, все последние встречи и знакомства можно смело отнести к этой категории. Даже самую последнюю, уже дома. Все никак не поверю, что я уже снова дома.

Я познакомился с Леной неделю назад, в магазине сотовой связи и аксессуаров, покупал аккумулятор к мобильному. В скольких городах он успел перебивать за истекшие два года, сколько перенес переездов, смен часовых поясов и высот, просто удивительно, что до сих пор жив, и выдвижная антенна по-прежнему функционирует, а крышка микрофона не отскочила, хотя и здорово расхлябалась. В этом городе еще нет полноценной сотовой связи, только в центре и на автовокзале, там, где я и остановился. Для местных жителей, вернее, для нас, — никак не привыкну, что я здесь родился, — это роскошь недостижимая, не нужная ни в быту, ни по работе. Ведь мало того, что и дома и на службе стоит телефон, так повсюду с советских времен

натыкано множество ставших бесплатными таксофонов. Спрашивается, зачем же платить несусветно дорого за все исходящие и входящие звонки?

В магазин связи или как он позиционировался «цифровой салон», где продавцом-консультантом работала Лена, большинство заходило разве что посмотреть да покачать головой — или переждать разгулявшуюся непогоду. Впрочем, магазин держался на плаву, Лена служила здесь около года и не жаловалась даже на задержки зарплаты. Собственно, с этого вопроса, последовавшего за совместными поисками нужного аккумулятора на витрине — «Вадим вечно все переложит и уйдет, а потом ищи», — как-то незаметно и началось наше знакомство. Когда я пришел вторично, вроде как приглядеть модель поновее, мы договорились о свидании вне торговых стен.

Но перед этим случилась довольно примечательная — для моей жизни, моего мироощущения, как угодно, — история. Казус, который в силу своей малозначительности прошел бы стороной, не обрати я сам на него внимание.

Лена поинтересовалась, есть ли у меня ноутбук, я покачал головой, в силу специфики жизни, таскать лишние пять-шесть кило не представляется необходимым. Тем не менее, она прорекламовала один из недорогих, обладавших изюминкой: вместе с обычным дисководом, в нем находилось устройство для чтения карт памяти. Я улыбнулся невольно, девушка вопросительно подняла брови. Необходимы разъяснения.

Наверное, ограничься я двумя словами, мы и по сию пору встречались бы в магазине, перебрасываясь парой слов. Но мне хотелось объяснить, что-то в ней виделось такое, отчего плевать и на возможно скорый отъезд и на свою диспозицию. Хотелось побыть рядом как можно дольше, это чувство, посетившее меня в первый же визит в тот магазин, не отпустило, напротив, в следующий раз укрепилось только.

Многим покажется странным, как я воспринимаю окружающий мир. Но когда ты все время в дороге... Лена поначалу тоже улыбалась, потом неожиданно погрустнела, дослушала монолог

и согласилась на встречу. Я переспрашивал, Лена качала головой, говоря о чем-то враз накотившем, чему и сама не может дать пояснения, лгать она не умела и прекрасно понимала это. Спросила только, как выглядит этот город, внутри моей памяти. Ведь я назвал воспоминания картой памяти, я кивнул, странное название шло со мной из города в город, пока не вернулось назад, на круги своя, я вытянул его из своего детства, откуда-то из самых его глубин, сейчас трудно сказать даже, что послужило этому первопричиной, может, моя основа такова, что не видит мир иначе как карту, по которой придется пройти, от абриса до абриса.

Мои воспоминания — это всегда дорога, а что за дорога без карты. Карта пройденного, сделанного, встреченного и потерянного, она всегда со мной, единственный багаж, что все время пополняется новыми подробностями, любовно складываемый в, кажется, бездонный сундук, что я несусь с собой, не боясь потерять. Мои воспоминания рассредоточены по карте жирными или крохотными точками, в зависимости от того, сколь долго я пробыл в том или ином месте, и соединены толстыми или тонкими линиями, опять же по количеству ездов туда и обратно. И каждая точка при приближении сама распадается на множество мелких — места, где я останавливался, встречался, расставался, проводил время в одиночестве, в компании или с кем-то наедине. И каждая из них соединяется линиями, большею частью только и оставшимися на этой карте: мои ненависти, радости, горести, любви и разлуки давно потеряли свое значение, обретя место в бездонном сундуке воспоминаний. Пожелтев и став страницами, бережно подшиваемыми в безразмерные папки.

Самая толстая относится к этому городу, как же иначе. Здесь я провел большую часть своей жизни, и провожу сейчас свое возвращение, здесь я познал самые первые, и оттого самые яркие ощущения от окружающего меня мира. Сильнее любил, яростней ненавидел, больше горевал и тягостней расставался; кажется, только тут у меня и случались по-настоящему искренние и теплые компании, впрочем, в те годы и деревья были больше

и трава зеленее. Правда, по большому счету, мне сравнивать не с чем, ведь прочие точки на карте памяти куда мельче и ничтожней этой центральной. Здесь я обрел все то, с чем потом устремился в вечное плавание. Весь багаж, что вожу с собой и поныне, несколько мелочей, подсознанием связанных с детством, отрочеством, юностью. От которых невозможно отказаться не только в силу их малости, положил в карман сумки, пока снова не припечет, не нахлынет былое, отдавая с головой, но и поскольку значат в моей жизни слишком многое, чтобы я мог их оставить в одной из гостиниц или съемных квартир просто так, делясь с кем-то еще.

Одна из таких вещей – небольшой, в почтовую марку размером, кусочек пластмассы с полустершейся надписью, верно, какой-то чип, неясного теперь, за истекшими годами, назначения. Деталь неизвестного ни тогда, ни сейчас электронного механизма, подаренного мне соседом по коммунальной квартире, жившим через стенку от нас, ближе к входной двери. Тогда ему было, да, едва ли больше, чем мне сейчас. Около тридцати. Но в восемь не только деревья кажутся большими.

Он приехал незадолго до моего дня рождения. Помню то неприметное серое утро, когда он появился в нашей квартире – светлый костюм в мелкую полоску, темная рубашка без галстука, на спине новенький рюкзак, в руках чемодан и траченная тряпичная сумка, кажется, забитая продуктами. Будто из голодного края приехал. Хотя может и так, ведь всего через год после его приезда, в нашем городе введут первые талоны, на мясо, если не ошибаюсь. Сразу после Олимпиады-80, на год всего, но получилось, что эти два события немедля совместились в моей голове, и сейчас, вспоминая очереди в мясной отдел, я видел теле-трансляции из Москвы и Ленинграда, а во время состязаний, когда наступала пауза, сидевшие подле телевизора – он у нас был один на квартиру, массивный черно-белый «Темп», – шептались о нормах на несуществующую вырезку и давно исчезнувшую шейку, их только в столице и сыскать – москвичам все время что-то подбрасывают, тем более к столь знаменательному

событию. Вон как город вылизали, прям за граница.

Кажется, я именно с этого начал свой рассказ о прибывшем соседе. Лена удивилась, сколь легко я перескочил с одной темы на другую, и потребовала возвращения. И тут же рассмеялась, заметив: удивляться не приходится, ты ж ведь человек дороги, в мыслях уже далеко. Я попытался оправдываться, но на самом деле она права, упомянув о соседе, я неожиданно понял, что задел слишком близкое, имеющее почти сакральное значение событие, с которым, тем более с еще плохо знакомым человеком просто не подобает так запросто делиться.

Первый раз я свел это к шутке. Потом только начал рассказ свой, когда мы встретились у нее, когда я ждал ее из ванной, глядя на монитор включенного компьютера, стоявшего у нее на самом видном месте комнаты, у окна, так чтоб от двери сразу в глаза бросался. Не то, чтобы Лена часто им пользовалась, но скопила и купила год назад, ведь надо, чтоб был, обязательно; странно, что мне эта настойчивость показалась преувеличенной даже для самой себя, вроде и говорила искренне, но и словам своим не доверяла полностью, и как-то немного отстраненно на себя посматривала, всерьез ли. Она ведь не сразу научилась им пользоваться, первый месяц компьютер просто стоял, ожидая Лениного соседа, который должен был объяснить устройство и поставить систему, так она только включать и выключать умела. Да и теперь, спустя год, он тоже больше стоял выключенным. Лена и включила его для меня, когда пошла в ванную — а я просто смотрел на заставку, на бесконечное блуждание в лабиринте и позабыв нежданно о той, что несколько минут назад сжимал в объятиях, видел в путешествии по дебрям кирпичного лабиринта не то самого себя, не то соседа по коммуналке, любившего слагать истории для малолетнего башибузука, только от них и затихавшего, к радости соседей.

Она и нашла меня сидящим неподвижно перед заставкой, и выключив агрегат, поинтересовалась, что со мной, руки нежно обвили вокруг шеи, щека коснулась щеки. Посадив на колени, я обнял девушку и долго молчал, мысли пролетали самые раз-

ные, вот только нас в них не было.

Сосед появился в сопровождении участкового милиционера, молодого парня, только назначенного на эту должность. Объяснил, что его подселают к нам вместо умершего в феврале Потапова — известного на весь дом алкаша, однажды так и не вернувшегося домой. Его нашли по весне, как снег сошел, впрочем, главное, от воплей, криков и песен его дружков и подружек, регулярно собиравшихся в соседней комнате и устраивавших драки или между собой или с подросшей милицией, я оказался избавлен раз и навсегда. Опечатанная дверь, на которую претендовала наша старшая по квартире Вера Павловна, желая переселить туда дочь с мужем, досталась другому, из-за чего последняя невзлюбила нового жильца заранее, едва только стало известно об отклонении ее ходатайства.

Странно, что я так подробно вспоминаю обо всем, так или иначе связанным с соседом, но все не решусь вспомнить его. Дядю Мишу, так он представился мне в первый же день своего появления. Протянул руку и крепко пожал ее, разом завоевав мое сердце. А потом пригласил к себе, попросил помочь разобраться с вещами. Разве может детское сердце устоять перед подобным? Конечно, я не устоял, согласился, можно сказать, он меня соблазнил немедля, одним приглашением этим, чему удивляться, что уже на третий день пребывания дяди Миши в квартире, я практически не вылезал из его комнаты, позабыв про обед дома и казаки-разбойники во дворе. Ведь в той комнате столько всего интересного.

Наверное, больше всего меня заинтересовала пишущая машинка, по-немецки аккуратная, но уже с практически стертой от частого употребления клавиатурой: для меня было дополнительной загадкой, какая клавиша какой след оставит на бумаге, равно как и ее таинственное тихое гудение, когда ундервуд подключали к розетке. И подсветка красным в то место, куда должен придти удар литеры.

Да, мой сосед был писателем. Безвестным, иначе он показал бы свои книги. Но печатавшимся, не то в «Химии и жизни»,

не то «Науке и религии», он показывал несколько журналов, названий я не запомнил. Только сами произведения, позднее, когда у меня оказалась возможность, я нашел их в сети, перечитал. Странное ощущение чего-то запямятованного и только что сысканного сменилось разочарованием — тогда, в восемь, они мне казались удивительными и, наверное, нездешними, дядя Миша писал как-то не так, в стиле своем подражая русским классикам, но сочетание с безбрежной фантастикой, коей увлекались тогда все, от мала до велика, давало странный эффект, точно все произведения писал кто-то посторонний. Наблюдатель за нашей повседневной жизнью, выискивающей в ней что-то таинственное, фантастическое, скорее, фантазмагорическое, так что каждый угол типовой многоэтажки заселялся неведомым, и это неведомое влекло куда-то еще дальше. В раскрывающиеся воображением моего соседа двери мне тогда хотелось заглядывать, высунувшись как можно сильнее, жаль, вот, зайти невозможно. Перечитав же его рассказы несколько лет назад, увы, уже не нашел ощущаемого прежде. Будто все перечувствованное при чтении лишь казалось восьмилетнему пацану, грезилось, совмещаясь с таинственностью комнаты, в которую впервые попал только, когда меня пригласил дядя Миша, — до того к Потапову ходить я боялся, — с самим пришельцем, с каждым днем занимавшем все больше и больше места в моем шумном, неугомонном мирке. Кажется, я стал куда тише и спокойней, по крайней мере, Вера Павловна уже не кричала так часто на меня, называя разбойником, варваром, сущим кошмаром, куда только родители смотрят, и угрозой безопасности дома. Я тогда понимал только первое слово, но оно меня не задевало, разбойником в играх бывал очень часто. Забавно, раз на нашу игру пригласил из самых лучших побуждений и дядю Мишу, потом только пришло в голову, что друзья по сорванцовым делам могут неправильно понять мои намерения притащить взрослого. Пускай и очень странного, нездешнего.

Нездешним его назвал не только я, и моя мама, кажется, первой была все же Вера Павловна. Именно она демонстративно

не поздоровалась с дядей Мишей в день переезда, сперва посчитав его чуть не бродягой, а потом перешла на отщепенца и чужака. Проигнорировала и попыталась бойкотировать новоселье, на которое пришли только мой папа, я и зять старшей по квартире. Вчетвером мы посидели под голой лампочкой, прикрытой журналом, комната пока еще вся в коробках, необустроенная, — родичи Потапова, после его смерти, вынесли все, что не было прибито или прикручено намертво, и лишь затем ее запечатали. Так что первое время дядя Миша спал на нашей гостевой раскладушке, а затем где-то достал хорошую кровать, явно румынскую, если не венгерскую, с подозрением заметила его завистница, стеллаж, немедля заполнившийся книгами и двойной шкафом и горку, уместивший в себя прочие пожитки дяди Миши, — в ателье одевается, замечала старшая, бурча что-то недоброе. Хотя от подарков соседа никогда не отказывалась, на новоселье, он, желая загладить ее недоброжелательность, подарил Вере Павловне коробку конфет Бабаевской фабрики, коробку она взяла, но во мнении только укрепились. Для нее дядя Миша еще и швырял деньги на ветер и метал бисер, она спохватилась на последнем слове и замолчала, недобро жуя губами. И долго выговаривала зятю, когда он с бутылкой «Столичной» пошел отмечать.

Втроем они посидели часа два, выпили, закусили простой банкой иваси и поговорили за жизнь. Папа затем уволок меня спать, а вот зять, ровесник дяди Миши, сидел долго, за стенкой, практически не приглушавшей шуму, журчала и журчала беседа, под ее неспешное течение я и заснул, утомленный прошедшим днем, готовясь к дню наступающему.

Не знаю, почему у папы не сложилось с новым соседом, но только за все время его пребывания в стенах нашей квартиры дальше шапочного приветствия и дежурных фраз о погоде или каких-то неотложных вопросов дело так и не пошло, они могли встречаться и вовсе не замечать друг друга, хотя Вера Павловна и говорила, что оба два сапога пара, моего папу она так же не любила, но на фоне соседа предпочла остановиться на давнем

знакомом и бойкотировать кого-то одного. Мама вздохнула с облегчением, когда старшая остановила ее в коридоре и вместо того, чтобы выговаривать за меня или пенять на забытую на плите кастрюлю, и развешенное где ни попадя белье, неожиданно пригласила к себе, после чего мама пришла пунцовая, с коробкой бабаевских конфет, той самой, и очень довольная разговором. Наш общественный статус повысился, что для мамы, активистки и общественницы, вечно пропадавшей на каких-то собраниях, было очень важно. Особенно после того, как Вера Павловна частенько выносила сор из нашей избы не то на партсобрание, не то на профсобрание, не помню всех этих сложностей: мама всегда приходила мрачная, злая, и шпыняла никогда не сопротивлявшегося папу, безропотно принимавшего на себя вину. Я старался не попадаться ей на глаза, пересиживая у своего друга Гришки суровые времена, его мама, тетя Саша, любила меня откармливать, всегда принимая как родного. Вскоре по возвращении в город я встретился с ней, мы поговорили, потом она пригласила меня в крохотную однокомнатную квартиру на окраине города, у самого автовокзала, теперь, когда Гришка подался в столицу, она жила одна, лишь изредка получая от него весточки. Мы посидели, повспоминали за традиционным чаем с конфетами. Странно, но я так до сих пор не объявился перед родителями. Эта встреча будто выбила из колеи — или вернула в прежнее русло, где я восьмилетний, уходил из дома, пока мама не выкричится на папу и не уgomонившись, позовет домой уже спокойным голосом.

Не представляю, знают ли они, что я тут? А если знают... нет, встречаться все равно не хотелось. Несмотря на долгое отсутствие. Или по его причине? Лена потянула меня к постели, банное полотенце, скрывавшее точеную фигуру, упало на пол, тотчас я позабыл обо всем.

И вернулся лишь когда, уgomонившись, неспешно целовал ее груди. Литые, тяжелые, к которым я приникал, будто младенец, не насытившийся материнским молоком. Впрочем, так и было, мама не выкармливала меня, слишком молода была или болезнь

тому причиной, но молоко у нее так и не появилось, меня вскармливали на смесях, — кажется, поэтому я так люблю ласкать, слегка покусывая, тяжелые женские груди, не в пример маминим, большие, налитые. Словно сейчас пытаюсь наверстать то, чего недополучил когда-то.

А вот у соседа женщин не было. Я точно помню, он никого не водил, что служило еще одним упреком в его адрес, хотя и тщательно замаскированным, это вот мой папа, да, грешен, все знают, а тут... непременно что-то подозрительное, а может, и подстатейное. Всего лишь раз и то мельком я видел у него вывалившуюся из томика Тургенева карточку, томик назывался «Ася», мне подумалось, это вырванная иллюстрация, тем более, лица той девушки я не рассмотрел, да и попадись она мне на улице — не смог узнать бы, слишком мало времени дано на разглядывание. Белокурые волосы и тонкие черты лица, вот и все, что запомнилось. Вернее, уже забылось за давностью лет, за чередой других, знакомых и забываемых лиц; та «Ася», потерялась, изгладилась в памяти, да и не моя она вовсе, хотя эта тайна... впрочем, разве можно было ожидать чего-то иного от дяди Миши, тайнами наполненного.

Вскоре после переезда он устроился работать в редакцию местной газетенки «Красный металлист», писал очерки и рассказы по родному краю, сатирические заметки, фельетоны и собирал забавные объявления. В редакции ему выдали фотоаппарат, «ФЭД» в потертом кожаном футляре, запираясь выходными, он проявлял в ванной пленки и печатал их там же — новый повод злословить и подозревать. Как и сама работа — Вера Павловна никак не могла взять в толк, почему взрослый мужик ходит три раза в неделю на три часа в эту самую редакцию, а ему платят несусветные деньги, ведь на них он покупает книги у спекулянтов, а если и не на них, а редакция всего лишь прикрытие, тут старшая замирала в немом возмущении, ибо слова для подобного не подходили и только молча кивала наверх или указывала в потолок пальцем, мол, там когда-нибудь непременно разберутся. Выведут на чистую воду. А ей руки мараť нечего, с она

с Потаповым навозилась. И высказав или вымолчав подобное, все одно получалось выразительно, останавливалась резко, пристально наблюдая за собеседником, и тот, обычно это была мама, не мог не вздрогнуть и не согласиться хотя бы кивком.

Не то, чтобы она совсем не любила нашего соседа. Нет, тут было нечто иное, чему я был не раз свидетелем, но понимание происходящего еще не пришло, оно давалось с опытом и прожитыми годами, так что на все встречи и разговоры мамы с дядей Мишей я глядел глазами ребенка, не понимая многого, но чувствуя неудобство уже оттого, что два близких мне человека нарочно говорят, чтобы их случайный свидетель не понял ни слова. Больше говорила всегда мама, она так уж устроена, чтобы всегда первое и последнее слово оставалось за ней; дядя Миша частенько поддакивал, этим неприятно напоминая мне папу в редких спорах с мамой. И как и отец, не старался сопротивляться, соглашаясь и подчиняясь настойчивости. Был в маме такой стержень, не отнять, что окружающие невольно либо смирились с ним, либо всеми силами старались согнуть в дугу, как это делала Вера Павловна, в ней тоже штырь сидел, видимо, посильнее, ибо мама перед ней всегда преклонялась. Но только перед ней, в остальных случаях именно она брала верх, она и сама рассказывала, что так повелось со школьных времен, что оказалась в первом отряде принимаемых в пионеры, комсомольцы, партийцы, она тогда только техникум закончила и устроилась на первую свою работу в фотографию. Там она разоблачила одного из техников, — скандал случился, по поводу непристойных пленок, мама к тому времени меня вынашивала, родила она рано, в девятнадцать, а родив и не досидев положенные два года, снова вернулась в строй. Сидеть на месте не могла, я временно перешел на попечение ее матери, с которой они хоть и на ножах были — за неравный брак с гуманитарием, неведомо почему на маму польстившимся, — но ребенок на первые годы их как-то снова свел. И потом так же развел, как в свое время родителей папы, те просто перестали видаться с сыном, едва он подал документы в загс, в самом деле, из интеллигентной семьи,

а сошелся с дочерью вахтерши, непостижимо, чем она его могла взять, форм никаких, доска доской — потом это выражение я слышал уж больно часто.

Тем не менее, вода и пламень сошлись и худо, бедно, но жили вместе, не желая расходиться. Дело даже не во мне, ведь развестись всегда можно, молодые, в чем-то другом, мне до сих пор непонятном. Мама все время пропадала на собраниях, папа почти откровенно ходил налево, мама знала, но противопоставить свою силу не смогла, тут папа в кои-то веки показал странную твердость и отвоевал право на раз в неделю или две в выходной. Повзрослев, я потом встретился с этой женщиной — ничем не примечательная, блеклая, после того, как папа с ней все же расстался, в начале перестройки это случилось, она опустилась, стала приглашать к себе не только одного любовника. А тогда, в разговоре с ней я узнал, она очень ждала моего папу, думал, бросит свою лаборантку с реактивами и придет к ней, да хоть с сыном, она бесплодна, хоть чем-то успокоится. Но нет, внезапно папа резко переменялся к своей законной супруге, осознал вину? — не уверен, но только прежнее охлаждение прошло, он перестал исчезать по воскресеньям, стал дарить подарки по случаю и без случая, волочился хвостом. И этим только больше отдалял от себя маму. Пока имел свое прибежище, верно этим и был силен, а когда сломал все в себе, уничтожил последний интерес, ибо оказался окончательно завоеван и подавлен. Смотреть на него было и больно и жалко. И на маму, которая, оставаясь с супругом одна, даже не пыталась находить общих точек соприкосновения. Больше того, выгнала с постели, впрочем, она всегда была холодна и равнодушна к любовным играм, так что папа спал у ее ног, на старенькой гостевой раскладушке.

Лена бы не удивилась, узнай все это и сделав логичный вывод — именно от такой семьи я бежал, сперва в институт, потом по России и ближнему зарубежью. И оказалась бы не права. Я попенял бы на дядю Мишу, буквально пропитанного чем-то неведомым, нездешним, и хотя пожил он с нами недолго, в моей памяти след оставил как зарубку на дереве — неизгла-

димый. И едва сосед появился в квартире, я стал запитываться им, точно пациент клиники, только вышедший из бокса истосковавшийся уже по запахам нагретой солнцем травы и земли. Запитался бесповоротно, наверное, останься дядя Миша подольше, наступило бы разочарование, естественное охлаждение для любых отношений, а так он ушел на пике моей в него влюбленности, помню, в дверях он остановился и помахал мне рукой, в точности как отправляющийся в неведомое космонавт, и этот жест еще долго преследовал меня, заставляя ежиться и ощущать не по-детски горькую пустоту в сердце.

Приехав в свой город, не испытыв при этом никаких чувств, как в любой другой город на свете, я снова дернулся, едва заметил похожий жест, им поприветствовала меня тетя Саша, увидев, как я выхожу из автобуса. Подошла, разговорилась, пригласила к себе. Вот именно тогда я неожиданно ощутил, куда именно прибыл, все прежние воспоминания ожили, нахлынули — мне срочно требовался собеседник, но не такой, не соучастник моей прошлой жизни, прости, Лена, наверное, поэтому я и нашел тебя, так получилось, именно ты стала выслушивать меня, не вставляя ни слова, ты умеешь это делать, больше того, ты любишь меня слушать, говоря, что у меня предательски сексуальный голос, но это оттого, что ты долго была одна, ты рассказывала, что последний парень просто бросил тебя, неожиданно исчезнув в никуда, уехав из города, растворившись в стране, как в свое время сделал и я, как еще раньше сделал дядя Миша. Ты спросила у меня, как надолго я останусь здесь, я и сам не знал ответа, потому ничего не сказал, и вот ты спрашиваешь снова, потому что ждешь единственного правильного ответа, ты сама подсказываешь мне его, ибо веришь, что этим или удержишь меня, или отсрочишь мой отъезд, или забудешься сама за верою в искренность вытребованного тобой признания. Я мог бы найти кого-то другого, но так получилось, что нашел именно тебя. Так получилось, что в этом магазине оказалась твоя смена, а не Вадима, который вечно все перекладывает по-своему и уходит, а ты потом ищешь, наверное, он просто пытается выжать тебя, чтобы

выжить самому, ведь вы не ладите, а значит, кому-то рано или поздно все равно придется уйти.

Не знаю, зачем я все это проговариваю внутри себя, обнимая твой стан, целуя твои наливные груди, все равно так и не скажу никогда вслух, не проговорюсь. Унесу с собой в никуда, в другие города, ведь рано или поздно мне придется уехать. Я сам избрал такую работу, не она меня, а значит, мне придется бросить либо ее, либо тебя, нежная, ненасытная моя любовница. Не знаю, почему я откровенничаю с тобой только про себя — только ли из-за боязни привязаться больше? Или причина гораздо серьезней и именно этот этап наступил еще когда ты пригласила меня, просто пригласила, без задней мысли, ну почти без нее, мы понимали, уже на входе в подъезд держась за руки, что этим все и кончится, но целый час держались, слушая музыку и разговаривая, вернее, говорил я, вспоминая соседа по квартире, а ты слушала, слушала. И лишь потом, когда нам обоим стало невмоготу, я замолчал на полуслове, а ты...

Ты снова ошиблась, выбрав меня в любовники. Я должен сказать об этом, я проговариваю это про себя, сколько раз говорил подобное вслух, но вот сейчас не могу, разом замолкшие, запечатанные уста не пропускают нужные слова. Мне еще столько всего надо сказать тебе. А я говорю только о дяде Мише, разве не странно? Хотя нет, не странно. Ведь он часть меня, недолгая, казалось бы, небольшая, но так получилось, основополагающая, а потому необходимая для понимания моей сути. И того, что я скоро ли, нет ли, но непременно покину тебя. Прости еще раз, не ты выбрала меня, я выбрал тебя, но ты все же согласилась с моим выбором и поддалась ему — приняв меня без условий, таким, каков есть. Отчаяние это или надежда, кто знает, боюсь, мы просто не успеем понять.

Как не успел понять я свою первую любовь. Это тоже странная история, для тебя, Лена, только для тебя, боюсь, для меня она первая в длинном ряду, впрочем, мне иногда кажется, что я привлекаю тебя исключительно силой своей непохожести на прочих твоих знакомых, как что-то неизведанное, как в свое время мне

казался таким же таинственным и притягательным дядя Миша.

В этом мы схожи, разве что в разное время выказали свою притягательность к выбивающемуся из ряда, или ты сохранила ту жажду нового гораздо дольше, чем я, пресытившийся всем и вся уже к неполным своим тридцати. У меня были учителя по пресыщению, гедонисты жизни, одна из них учила меня искусству плотской любви — та самая сокровенная, почти сакральная папина тайна. От нее я получил первые уроки утех и наслаждений, странно, что она снизошла, может быть в память, хотя нет, скорее, напротив, избавляясь от памяти столь причудливым образом: после разрыва с папой, она... нет, то был не разрыв, она объяснила, папа просто сдался. Устал. И такое бывает, когда любишь, а маму он любил, да это тоже странно, своей особой любовью, но любил, не мог без нее, и потому сломался, отдавшись ей на милость. И еще одно подкосило его — слишком близко он сошелся со своей сакральной тайной. Сакральность не терпит сиюминутности и рутины, а он просто не понял, или забылся или устал от постоянных перемен. Захотел упорядоченности и обыденности и здесь, и тогда святой Грааль его испарился, оставив после себя уставшую, бледную женщину с несоизмеренно большой грудью и узкими бедрами, блеклую и невыразительную, переставшую принимать его любого и начавшую ставить условия. Он потерял ту близость, что еще связывала их, а она перестала надеяться. Разошлись по взаимному согласию, хотя боль она утолила только другим. И еще одним, когда поняла, что первый не способен на марафонское утоление. Я был первым ее учеником, когда она осознала свое желание не только бесконечно брать, я был первым, оттого, наверное, она отдала мне почти всю себя.

В те дни именно в те, я познакомился со своей первой любовью, обретая, я передавал ей часть своих пока еще сакральных знаний, не скрывая, откуда они. И моя любовь ничего не имела против моего ученичества, не то время было другое, конец и перестройки и Союза, сотрясаемого чередой гражданских усобиц, не то мы так отличались от других.

И все же нас ждало расставание. Мы остались друг другу чужими, сколько бы ни находились вместе. Напротив, наидольшее совместное жительство лишь отдаляло нас, да, я так и не научился, и по сию пору не умею спать в одной постели с женщиной, она... мелочи жизни погубили нас. Те самые мелочи, из которых состоит само существование союза. Любого союза. Тот, в котором мы жили, умер вместе с нашим, когда красный флаг с серпом и молотом спустили со шпиля Большого кремлевского дворца, я уже был далеко. Не только географически, это не мешало нашему союзу прежде, но и сердцем. Моя любовь, уже бывшая, поняла это и успокоилась. Наверное, так же поймаешь это и успокоишься и ты, Лена.

Но пока еще меня не позвала дорога, пока не пришло время расставания, я не могу оторваться от тебя, моя скороспелая, беспокойная и безнадежная страсть. Я еще целую твои наливные груди и жадно покусываю соски, заставляя тебя вздыхать и вскрикивать в предвкушении неизбежного. Пока еще ты моя, а я твой, и нынешнее состояние кажется извечным. Пока не пройдет эйфория, и не наступит облегчение, освобождение, а затем и отрезвление от эпикурейских утех. И уход, почти неизбежный.

Нет, не от нашего соседа по квартире обрел я свою страсть к переменам. Он приехал надолго, верно, подготавливал себя основательно и только потом решился. Дядя Миша прибыл в наши края с другого конца города с намерением осесть окончательно и бесповоротно, первое время я прекрасно помню улыбку полностью удовлетворенного человека, не сходящую с его лица. Кажется, лишний камешек в огород уже всем, его окружавшим, коим жизнь в коммуналке приносила лишь усталость и притерпевшееся, а потому почти незаметное раздражение. Он же лучился жизнью, он будто вернулся домой и каждый день встречал, как непостижимое чудо, внезапно свалившееся на его голову, главного счастливца; да, счастливецом его назвал зять Веры Павловны, наутро после посиделок, когда снова встретился с ним в коридоре, где старшая уже нормировала на семьи дефицитные рулоны пипифакса, добытые накануне в страшной давке

в хозяйственном ее дочерью. Вера Павловна обернулась на слова зятя, буркнула что-то неразборчивое, и снова занялась дележкой, стараясь не обращать внимания на нездорово лучезарную улыбку проснувшегося соседа — ему и досталось-то всего два рулона, исключительно из-за этой гагаринской улыбки. Впрочем, он, не поняв, что получил сие на месяц, и тому был доволен, и признательно благодарил старшую, не понимая, как больно ей делает своей искренней признательностью за труды, кои она почитала каторжными, хотя и сама на себя этот крест водрузила и передавать никому не считала возможным.

После мы отправились путешествовать в парк Победы. Испытывая при этом странную, верно, для нас обоих, эйфорию от похода по давно знакомым местам, дядя Миша назвал это возвращение к истокам и еще как-то, я не запомнил в точности; мы бродили среди танков и пушек времен Великой Отечественной, я забирался на каждый, он фотографировал меня, не жалея выданной газетой пленки и подробно рассказывал о достоинствах и недостатках того или иного стального монстра. Не понимая и половины, я с увлечением слушал его повествование; вскоре к нам присоединился ветеран той войны, они заспорили, но вскорости сошлись на чем-то, дядя Миша попросил рассказать его о битве подо Ржевом, и сфотографироваться на фоне тридцатьчетверки. И то и другое фронтовик выполнил охотно, жалея лишь, что его рассказ вряд ли будет напечатан, мой сосед пообещал клятвенно, и обещание сдержал, за что в итоге получил нагоняй из райкома. История нашей Победы тоже была сакральной, как и сейчас, документы засекречены, а воевавшие позабыты, и никто не смел оспаривать ни причин, ни хода, ни итогов. Ни тогда, ни сейчас.

Та прогулка, первая в длинном списке, помнится мне и по сей день. И хоть от нее не осталось уже никаких вещественных воспоминаний, все карточки, что принес дядя Миша, я оставил в прошлом, тепло памяти все еще со мной. Неприметное и оттого непонятное другим.

Ты все хочешь понять причины, по которым я влюбился

в своего соседа, одной таинственности и открытости тебе мало. И я ищу другие составляющие своего чувства, хотя как разделить для изучения детскую любовь? Но попробую, не обижайся, если получится плохо.

Мы сошлись с дядей Мишей сразу, всерьез и, как казалось, навсегда. Странное переживание, что я испытывал, пересекая порог его комнаты, воскресло немедля, едва я, вернувшись в выхолащенный бесконечными переездами родной городок, повстречал тетю Сашу, посидел с ней, вспоминая, возвращаясь назад во времени, именно в восемь лет, хотя она и беседовала со мной о разных годах, но тот небольшой отрезок времени слишком сильно врезался в память, чтобы не появиться первым, извлеченный из сундука, разложенный на карте памяти, самой старой, занимавшей тогда еще только район не самого великого города. И я, сплетя пальцы перед подбородком, вглядывался в эту карту, выводил у нее сокровенное, погружаясь сквозь завесь десятилетий к заветному сроку под неторопливый монолог тети Саши, которой требовалось только изредка поддакивать. Она с некоторым упоением даже, свойственным любой матери, которую покинул сын, припоминала какие мы с Гришкой были сорванцы и охламоны, и как однажды нашли на помойке пачку воздушной кукурузы и ничтоже сумняшеся принялись поглощать. Хорошо, твои родители не видели, добавила она и как-то враз замолчала.

Ну да, мои родители не видели. Когда мы вломились на стройку и нас словили стройбатовцы, сразу же поволокли к тете Саше — даже не потому, что мои отсутствовали, просто в силу того, что ее слова и подзатыльники на нас действуют куда весомей. Для меня она всегда оставалась куда большим авторитетом, нежели мама, и любое ее слово считалось окончательным и бесповоротным и мною не обсуждалось, особенно по тем временам. Одно время тетя Саша приходила со мной к маме и пыталась объяснить, втолковать, особенно после случая со стройкой. Потом сдалась. У мамы ведь работа, обязанности, на ней держится коллектив и еще ее выдвинули куда-то. А папа...

он честно ходил на родительские собрания, а после распекал перед мамой, меня за тройки, пожалуй, этим и ограничивая круг нашего общения. Мы редко бывали вместе, у него тоже работа и обязанности, и не перед нами одними, и не только перед той, которая ждет, ну, это не обсуждалось, и тоже коллектив и еще план, и нормативы и сметы, странно, но я даже не помню, где он работал. Кажется, в архитектурном ящике, впрочем, не уверен на все сто. Иногда он приносил с собой и доделывал уже дома чертежи, мне ни тогда, ни позже, совершенно непонятно было, что же там изображено, деталь моста или ротора, казалось, все детали мира похожи одна на другую и все зависит от того, в каком порядке их скрепляют меж собой – и тогда выходит или арка или шлифовальная машина. Я давно привык к этому, даже не замечал отсутствия родителей, больше того, выходные воспринимались мной как некая странность, сбой в строго отлаженной системе, в результате которого эти два бесконечно занятых человека вдруг оказались не при делах и, не в силах занять себя, целые дни проводят абы как – мама за телевизором, папа перед газетой, она в комнате, он чаще всего в кухне, в те часы, когда там ничего уже или еще не варилось, а значит, он мог побыть в вожделенном одиночестве.

Позже меня часто подмывало спросить, каким же хитроумным способом я появился на свет; но ложное стеснение ли, или ожидаемая неприятная брезгливость в ответе, как бы ни была она выражена, отвращали от прямого вопроса. Вера Павловна, раз в горячке сказала, что мама долго выбирала между ребенком и собакой, а потом слишком поздно спохватилась. Наверное, с тех пор я не любил собак, животных вообще. Впрочем, они и не могли сопровождать меня в дороге. Мне сопутствовала лишь несколько раз та, которую я по сию пору называю первой любовью, но и она отклеилась после очередного рейса, вроде бы все упиралось в деньги, а потом уже в обстоятельства иного рода, но верить обоим хотелось в первое. Наверное, у нас с тобой, Лена, будет примерно так же. Только пока об этом не хочется думать, ни мне, ни тебе.

Ну вот, ты больше не спрашиваешь меня о соседе по квартире, тебе интересно другое. Ты соскучилась, и мы снова отключаемся от рассуждений, переносимся в другое измерение, растворяемся друг в друге. А когда объятья разжимаются, ты, взмокнувшая, изнеможенная, со слабой улыбкой на раскрасневшемся лице, тихонько спрашиваешь, когда же я устану. Я и сам не знаю этого, мне с каждым новым приступом эйфории, хочется большего. Будто за плечами нескончаемый резерв, поутру всякий раз заканчивающийся пустотой. Впрочем, мне еще в восемь лет говорили, что я слишком выносливый, правда, совсем по иному поводу.

Особенно после того, как дядя Миша исчез. Не совсем так, ведь он уходил у меня на глазах, на глазах всей квартиры, улыбаясь тихонько и маша мне рукой, жест этот потом долго не будет давать мне покоя. Не по своей воле покидая наш уютный уголок, его уводили на дознание трое службистов, прибывших на неприметной черной «Волге», хотя во дворе нашего дома, среди двух обшарпанных «Запорожцев» и четырех двенадцатого «Москвича» она выделялась кляксой предстоящей беды. Сразу как приехала — ведь такие машины с государственными номерами, единожды заезжая во двор, с давних времен именовались черными воронами, воронками и ничего иного, кроме несчастий, не приносили.

Я смотрю на тебя, откидываю пряди мокрых волос со лба, ты улыбаешься неземной улыбкой и глядишь как-то сквозь, словно я нахожусь где-то далеко, если и в этой комнате, то у самого окна, или вовсе за ним, на той стороне улицы, а может и еще дальше. Так далеко, словно я еще не приехал сюда обратно — ведь именно с той стороны прибыл мой автобус, сделал по стоянке полукруг, фырча, припарковался и помедлив, раскрыл двери, выпуская заждавшихся пассажиров. Кого-то встречали, кто-то просто спешил домой. Даже я, помедлив с высадкой, оглянулся по сторонам, чисто механическое движение, которого и сам не осознал в первый миг. И побрел по знакомым и незнакомым улицам в направлении дома, в котором мне предложили по теле-

фону кров и еду. Недалеко, всего в двух остановках в сторону парка, другого, не того, где мы с дядей Мишей. Я вспомнил его в тот миг, сердце кольнуло, но затем прошло. Я добрался до квартиры, хозяйка сдавала только одну комнату, поселила меня и получив деньги за месяц вперед, отправилась к подруге, вероятно отметить удачный поворот дела.

А наутро следующего дня меня выглядела в толпе тетя Саша. Я еще не успел приступить к своим обязанностям, гулял по городу не вспоминая и не присматриваясь, подобно туристу, попавшему в богом забытое место, патриархально замусоренное и убогое, чуждое цивилизации, скорее чурающимся их всеми силами. Я обходил вековечную лужу, что на улице Чайковского, когда услышал ее голос, не мог не узнать. И ответил точно так же, как в детстве: «Да, тетя Саша». И тогда все вернулось. А когда она заговорила о моих проделках, ненароком, видимо, чисто машинально, помянув родителей, вспомнилось куда большее. Снова кольнуло, но у меня часто покалывает, я положил под язык капсулу валидола, тетя Саша сразу стала возмущаться, такой молодой, а уже изводит себя взрослыми лекарствами, вот я стараюсь обходиться, и пока совсем уж не припечет, ни к какому врачу не пойду ни в жизнь. Я пожал плечами, работа такая, она немедля поволокла меня к себе домой, чтобы узнать поподробнее и насчет работы такой и всего прочего, о чем жаждала узнать за все прошедшие годы.

Когда ты спросила, что же у меня за работа такая, что не сидится на месте и приходится пользоваться мобильным, а востребован по всей стране, я предложил угадать самой, на что ты немедля выпалила, уж не наемный ли я убийца, — попытка улыбнуться вышла неудачной. Ну да, это первое, что придет в голову. И последнее то, чем я действительно занимаюсь. Несмотря на то, что обучали меня еще в СССР, знания все еще востребованы: ничего нового, по крайней мере, у нас в стране, не произошло, — никаких инноваций, открытий, даже закупок импортных аналогов, вот уже десять лет, как я латаю и латаю ломающееся оборудование деталями, тайна изготовления кото-

рых ушла в небытие вместе со страной. Меня хорошо научили с этим справляться на моем первом месте работы, по специальности, как ни удивительно то звучало в начале девяностых, и именно по этой специальности я мотаюсь из города в город, сизифовым трудом пытаюсь отсрочить смертный приговор медленно умирающим заводам, на которых работают тысячи человек; после кризиса специалистов в нашей области осталось всего двое или трое на страну, платить стали больше, зато переезды превратились в бесконечный транзит. На счету у меня скопилась порядочная сумма дензнаков, но это на тот черный день, когда либо все рухнет, догнив окончательно, либо модернизируется, и мои знания окажутся в кои-то веки бесполезны, даже не знаю, что может случиться раньше, и что я буду делать в том или ином случае. Стараюсь не задаваться подобным вопросом, все равно потом ждет головная боль и колотье в сердце. Единственное избавление от которого — забвение. Такое, как используешь ты, чтобы выбросить из головы прежнего парня. Как же мы схожи с тобой. Мне даже становится больно от этой мысли.

Кажется, ты выдохлась; впрочем, время уже позднее, поэтому я оставляю тебя, ты просишь, но не очень уверенно, остаться, зная, почти дословно, что я скажу, я и говорю эти слова, чтобы не разочаровывать, и ты смиряешься. Провожаешь, запахнувшись в неброский халатик, до лифта, не обращая или делая вид, что не обращаешь внимание, как при ходьбе развеваются полы, мы крепко обнимаемся и целуемся на прощание.

Жаль, в прежнем прощании подобного не случилось. Прости, я снова про дядю Мишу, сцена не выходит из головы: звонок в дверь, на пороге два крепких парня в одинаковых темно-серых костюмах и черных галстуках, я почему-то решил, что это гробовщики, именно такие приходили после смерти Потапова, договариваться о своем с разговаривавшими комнату покойного пропойцы родственниками. Вере Павловне предъявлен ордер на арест нашего соседа, она белеет, молча указывая на дверь, но там его нет, конфуз, дядя Миша выходит из туалета, только что умывшийся, принявший ванну, его за это не раз шпыняла стар-

шая, столько воды расходует, да еще и краны на ладан дышат, а слесаря не дозовешься. Все замирают, наконец один из «гробовщиков» предъявляет ордер на арест и обыск и просит с вещами на выход — ну ровно как в дешевых современных сериалах. В узкую кишку коридора высыпают все, Вера Павловна спрашивает, куда его везут, по какому обвинению, кто будет дознавателем, ее вопросы старательно игнорируются. Она бледнеет еще сильнее, на мгновение зайдя в свою комнату, показывает корочки орденов и медалей, пытаясь хоть этим надавить, вынудить, прервать завесу молчания, напрасно. Наконец, дядя Миша выходит из комнаты, в сопровождении одного из службистов, второй все это время недвижно стоит у входной двери. И на пороге...

Дверь, наконец захлопывается. Минута тишины, прерываемая внезапно всхлипами мамы. Почти бессильно она кричит, и окружающие едва слышат ее голос, хрипит о том, что не хотела, что думала, его вызовут в партком, что прочистят мозги, ведь это неправильно, ведь, согласитесь, Вера Павловна, вы сами не раз говорили, и потом, ведь это наше общее дело, дело партии, выяснить, Вера Павловна, вы слышите, ведь надо же было разобраться, вы же говорили, Вера Павловна...

Старшая молча подходит к маме и дает две звонкие пощечины. После чего плюет, харкает, перед ней на пол и запирается в комнате. Следом за ней, уходят и дочь с зятем, затем папа выпроваживает меня. Мама продолжает стоять в коридоре, уже не плачет, стоит опустив голову, словно этим пытается вернуть все на круги своя, папа подходит к ней, с намерением увести, напрасно, она не дается. И только по истечении часа или больше возвращается. Садится перед выключенным телевизором и сидит, глядя в никуда. С ней никто не пытается заговорить, ни в тот день, ни в последующие, сколько их прошло, наверное, почти неделя.

Вера Павловна каждый день ходит в прокуратуру, в отделение госбезопасности, ей отказывают даже в информации о судьбе соседа. Известно только, что из города его вывезли в тот же день, но куда, остается загадкой. Страна огромна, отдаленных

мест множество, он может быть где угодно.

Наконец, Вера Павловна сдается. Участковый в тот день, вместе с еще одним «гробовщиком» распечатывает комнату — если в ней осталось какие-то вещи соседей, просьба взять при свидетелях, имущество арестованного поступает в распоряжение государства. В этот самый момент и начинается, каждый хочет взять себе что-то, пока это еще возможно, только Вера Павловна стоит в коридоре, что-то бормоча про себя. Суতোлка достигает своего апогея, когда открыт шкаф, именно там, на полу я и нахожу тот самый синий кусочек пластмассы, вероятно, выпавший из брюк в суматохе или ухода или разбора оставшегося после ухода, и надежно прячу за пазухой. После, незамеченный, удаляюсь, чтобы перепрятать его под половицу — к прочим сокровищам. Там он пролежит долгих девять лет, чтобы двинуться в первое свое путешествие. Я немного забрал из дома, веря и не веря, что уйду навсегда. Наверное, тогда еще рассчитывал вернуться, ведь у меня была девушка, кажется, мы даже собирались создать семью, не без совместной помощи родителей, прежде всего, моей мамы, искавшей мне тихую гавань и надежную крышу — моя первая любовь ей приглянулась как-то особенно. Хотя почти ни в чем не походила на нее. Разве что... так смотрел папа на старых снимках, сделанных еще за два или три года до моего рождения, так он смотрел на нее и когда, сломавшийся, вернулся к родному очагу, искать своего утешения и успокоения, ту самую дозу, что готовилась мне, да не пригодилась. Я сорвался.

Но понял это далеко не сразу. Или нет, наверное, осознал еще в восемь, когда убедился: дядя Миша не вернется, а значит, не следует ждать и надеяться, а надлежит жить дальше, будто ничего не случилось, как это старательно, поначалу вымученно, но затем все больше и больше свыкаясь со своей ролью, играли мои родители, Вера Павловна, ее дочь и зять. А затем и новый сосед, будто не ведавший, куда исчез предыдущий жилец комнаты. Я долго, очень долго бродил в маске. Пока она не стала мала. И осознав, что она стала мала, понял это и сорвался. Выбрался из гнезда, пропахшего постылым запахом щей и гнили умираю-

щего дома, двинулся в путь, в бесконечное, почти броуновское движение к по сию пору не ведомой мне цели, которой, быть может, и нет вовсе, или она лишь иллюзия, но до нее я все равно, как упрямый осел, с привязанной перед носом морковкой, старательно пытаюсь дойти.

Я ведь тоже искал дядю Мишу, не сразу, по истечении времени. Когда многое стало позволено, многое открылось, и жизнь в нашей маленькой квартирке стала и вовсе невыносимой. Я проводил дни, пытаюсь отыскать хоть какие-то сведения об исчезнувшем соседе. Копался в только что рассекреченных архивах, боясь как бы их опять не закрыли, искал, но только напрасно. Дела на него видимо, находились так глубоко, что простому смертному доступ и по сию пору заборонен; удалось узнать только, что дядя Миша скончался в колонии под Новосибирском еще в восемьдесят втором году от воспаления легких. Оказывается туда его и перевели. Похоронен на кладбище колонии, как номер 27185, я не посмел поехать, навестить могилку. Больше того, отчего-то на душе стало немного спокойней. Я неверующий человек, но тогда показалось, дядя Миша все же нашел пристанище, в котором его уже никто не побеспокоит. Жаль, что так далеко. И так обидно, что вспоминая конец восемьдесят второго, я ничего не почувствовал, когда он умирал. Наоборот, в то время у меня начался непродолжительный подъем в учебе, так что вторую четверть закончил всего с тремя тройками, почти хорошист, хвалилась мама, показывая мой дневник, я гордился, сам не зная, чему, ах, да, похвалам Веры Павловны, совершенно позабыв соседа через стенку. Да, к тому времени позапамятовав полностью. Он больше не беспокоил меня во снах, лишь только изредка, уже при дневном свете, возвращался, но как бледная тень минувшего.

А еще, немного позже, когда я закончил поиск и начал путешествие, мне пришло в голову жестокая мысль: даже хорошо, что он не вернулся. Ни в восьмидесятом, ни в восемьдесят втором. Совсем. Возвращение сакрального чревата почти неизбежным падением былого кумира, я, уже подросток, уже забыв-

ший, снова столкнулся с ним, пытаюсь вернуть утраченную связь, только тщетно. Да, мы нашли бы новые точки пересечения, вот только смотрел бы я на него иначе – а разочарование минувшим не заставило долго ждать. Дядя Миша ушел – и одновременно остался со мной навсегда, недаром же я таскаю с собой полжизни, неведомый чип, привезенный им в квартиру, и зачем-то бережно хранимый, им и впоследствии, мной. Надписи давно стерлись, кроме логотипа фирмы-изготовителя «Ай-Би-Эм», но это никогда не мешало мне лелеять невыразительный обломок прошлого, как бесценную реликвию, безвозвратно потерянного детства. С которым столкнувшись, я так и разошелся, по возвращении в свой и уже чужой город.

Наутро мне надо было закончить предварительный монтаж и проверить схемы, на все про все ушло не больше четырех часов, потом я еще раз прозвонил соединения и покинул цех, теперь за дело возьмутся рабочие, а в следующие три дня мне снова предстоит все проверять и перепроверять перед повторным пуском.

Когда освободился, немедля позвонил Лене, у нее обеденный перерыв, мы решили встретиться, тем более, она обещала показать мне какое-то чудо техники, только сегодня завезенное поставщиками из страны восходящего солнца. Нечто такое, на что я обязательно должен посмотреть, будто кроме этого у нас нет иных поводов для долгих встреч.

Я прибыл немного раньше и теперь жду на скамейке, будто специально для этого поставленной у черного хода магазина, ты всегда запаздываешь с выходом, проверяя, не то меня, не то себя. Особенно после вчерашнего дня, плавно перетекшего в вечер, накрывшегося покрывалом ночи. Сегодня и по телефону ты говорила как-то особенно, с едва заметной хрипотцой, выдававшей и волнение и нечто, куда большее, но старательно скрываемое, ты ожидала нового вечера, снова, голос сам задавал вопрос, а разум получал утвердительный ответ, слушая в ответ тот же тембр, то же волнение. словно дети, входящие в тайную комнату, и ищущие руки друг друга.

Наконец, ты появляешься, мы целуемся, жадно, ненасытно, на глазах у Вадима, нежданно появившегося в дверях, кажется, ты делаешь это еще и сознательно. Вадим исчезает, мы заходим в подсобку. А затем, ровно для того я сюда и был приглашен, ровно предлог не был поводом, ты включаешь свет и показываешь коробки с фотоаппаратами, тебе уже разрешили взять один на время, изучить, чтобы продавец уяснил особенности и скрыл возможные недостатки при продаже, ведь зеркалка стоит почти семьдесят тысяч рублей: большой дисплей, камера три и два мегапикселя, карта памяти на шестьдесят четыре мегабайта, стабилизация изображения, автофокус и еще много чудес и новинок. Ты фотографируешь меня на встроенную в камеру память, затем мы смотрим, что получилось. Я странно выгляжу, кажется, все желания написаны у меня на лице, ты краснеешь и стираешь снимок. После чего фотоаппарат благополучно забыт до тех самых пор, пока тебя не возвращает в магазин недовольный голос Вадима. Мы вынуждены прерваться, ненадолго, ты обещаешь уйти пораньше вместе с этим чудом техники и показать его мне — и себя, «ты ведь фотографировал потом, в кружке, и позже, а я захвачу карту памяти». Моя невольная улыбка заставляет тебя улыбнуться так же, ты спешно целуешь меня последний раз и отправляешься в извечно пустой торговый зал, ждать неведомых покупателей.

Да, я фотографировал потом, уже став пионером, выклянчил у папы деньги на покупку самого простого фотоаппарата «Смена», камера обскура, советская мыльница. Потом поступил в кружок фотолюбителей, несмотря на все недостатки камеры, — я приходил с такой один, у прочих были и «Киевы» и «Зениты», а кое-кто снимал и на импортный «Пентакс», — мои снимки несколько раз выходили в финалы разных конкурсов; я проходил со «Сменой» до седьмого класса, пока не купил вполне приличный «ЛОМО», тоже шкальный, так что я таскал с собой в рюкзаке не только экспонометр и вспышку, но и дальномер. Именно с ним желание фотографировать и показывать напечатанное довольно быстро угасло, он так же остался далеко позади, в деся-

тилетиях пути и десятках остановках троллейбуса. Туда, куда я уже не посмею вернуться, не пересилю себя.

Я приезжаю к тебе все равно раньше обговоренного срока, сколько ни выгуливал себя под окнами, не удержался; с развратно лежащими в букете каллами и бутылкой вина. Пунцовая от смущения, ты принимаешь мои подарки, ставишь цветы; их распространенный по вазону почти вульгарный вид еще больше смущает тебя. Ты еще не решила, что мы празднуем, и не заметив, ставишь мое мерло рядом со своим — вся разница только в этикетке, даже годы совпадают. Мне почему-то вспоминается, что мерло любил выпить дядя Миша, но мысль эта, легко преодолев пространство черепной коробки, столь же стремительно исчезает, испаряется, вытесненная совсем иным, воспоминания блекнут, шатер вчерашней ночи лишь обострил чувства, и сделал нас куда раскованней и прямолинейней,

Так что к вину мы притрагиваемся куда позже. Я ласкаю твою тугую грудь, когда ты вспоминаешь о нем, мне не хочется возвращаться, и ты переносишь бокалы и бутылку в кровать. Захватываешь и коробку, после первого глотка, заинтригованный, я прошу показать карту памяти о которой столько слышал, но ни разу не видел, должен же я когда-нибудь изменить представление в соответствии с общепринятым, ты выискиваешь заложенный тобой в футляр черный кусочек пластика размером с почтовую марку, цифрой 32 и названием производителя, «Сан».

Я остолбенел и замер, остановился, перестал дышать. Бокал выпал из рук, укатился, разлив мерло кровавым последом по простыням. Я осторожно коснулся кусочка пластмассы, бережно поднес к глазам, будто именно он, а не упавший бокал, был из стекла. А затем рванулся к шкафу, куда только повесил куртку, недолго покопавшись в карманах, вытащил кошелек, другой, заветный, не понимаю, почему я даже сюда приношу его, никогда не расставаясь, словно скряга со своим сундуком золотых. Сколько тысяч километров преодолели эти скромные сокровища, два билета на дневной сеанс, надорванные билетершей, поломавшаяся от времени фотография, талон на водку с написанным

на обратной стороне телефоном, просверленная пятикопеечная монета, еще кое-что в том же духе, я собираю их бережно, и вожу из города в город, первым делом прячу от глаз посторонних.

Теперь я извлекаю из закрытого клапаном кармашка синий чип, тот самый. Ты удивляешься, задаешь одновременно с полдюжины вопросов, тебя интересует все, почему, откуда, зачем, и что же так не сказал, хотя ведь знал, видел.... Ты встаешь и подходишь к компьютеру, включаешь, оглядываешься на меня, точеная фигурка соблазнительно обнажена, но мы не замечаем этого, одна страсть улеглась, вспыхнула другая, затмив предыдущую, вытеснив из сознания напрочь, и теперь мы ждем, пока загрузится операционная система, пока появится рабочий стол, пока устройство распознает старую карту, купленную совсем недавно.

Несколько томительных секунд, и папка открывается. Там снимки, много, много снимков. Ты открываешь первый, и замираешь на полувздохе, странно, но мой шок уже прошел, я начал что-то понимать, осознавать, смутно, неясно, но этого оказалось достаточным, чтобы всего лишь вздрогнуть от увиденного лица, твоего лица, Лена, на первом же открывшемся снимке, сделанным в парке Победы, ты стоишь подле тридцатьчетверки и улыбаясь немножко отстраненно, как человек, на мгновение позабывший, что перед ним фотограф, касаешься пальчиками ствола грозного танка. Невинный жест этот видится наполненным таким эротизмом, что мы оба невольно замираем и долго вглядываемся в твое лицо, твою позу, пока ты не переходишь на следующую фотографию. Тот же танк, но ты сидишь на броне, задумчиво смотря на заходящее светило. Дальше. Ты у самолета «По-2», дальше, ты у пруда смотришь на воду, еще дальше, у плотины, дальше, между тополеЙ, дальше, на распутье, дальше, дальше, дальше....

Когда появляется дядя Миша, мы оба уже не удивляемся этому. Он стоит на крылечке заброшенного дома в голубой майке с расстегнутыми пуговицами на вороте и белых джинсах с темным поясом. Улыбается и что-то говорит тебе, должно быть,

о настройках, в этот момент ты и запечатлела его. На долгие десятки лет. Хотя, как говоришь ты, замерев, без кровинки на лице, потухшим голосом, всего лишь месяц назад, перед тем, как ушел окончательно. Я переспрашиваю, он давно собирался уйти? — нет, отвечаешь ты, но в тот день он был рассеян — еще один снимок подтверждает твои слова, дядя Миша отвлекшись ото всего, разглядывает набегающие облака, — в тот день мы с ним впервые не целовались, так как делали это всегда и ходили, только лишь держась за руки, я подумала, неспроста, но и представить не могла, что вот так буквально через неделю, он исчезнет, и, главное, куда.

Я отвлекаюсь от монитора и сажусь на кровать. Устал, будто пробежал несколько изматывающих километров по пересеченной местности. Ты подсаживаешься рядом, мы по-прежнему обнажены, по-прежнему заняты своими думами. Не смотрим друг на друга, ни на что вообще, глаза блуждают в пространстве прошлого, каждый выискивает свой уголок на своей карте памяти, ты, совсем рядом, всего в нескольких неделях и месяцах от сего дня, я же снова забираюсь на двадцать два года назад, к самому началу, к истоку истории. Как странно, что она всего лишь продолжение той, что случилась незадолго до моего возвращения. Как странно, что именно так закольцевала нас судьба. Уйдя от одного, сгинувшего безвозвратно в прошлом, ты пришла к другому, выбравшемуся из того самого прошлого, в которое отправился твой несостоявшийся нареченный, искавшей и себя и свою лучшую долю: не здесь, так хоть где-то не в этом времени, так в ином, в этой же стране, но в другой ее эпохе. И сумевшим, как? каким образом? — отправиться в места своего детства, да он вернулся к себе домой, воистину в свой дом, где все казалось удивительным, таинственным и притягательным — для ребенка восьми лет, из которого дядя Миша не вырос, да, верно, и не собирался вырастать.

Видимо потому он так легко нашел со мной общий язык, и с таким непостижимым упоением вошел в сгинувшей в небытие мир, простирая к нему руки, с миром, в кои-то веки обретенным

в душе, и спокойствием, хотя бы на десяток лет. Что он намеревался делать потом, наверное, не знал и сам, быть может, снова вернулся бы, и возвращался бы еще, и еще раз. Если бы розовую пелену счастья не прорвало в том самом месте, о котором дядя Миша напрочь запомнил — в месте его схода с позабытым миром прошлого, закрытым наглухо пеленой воспоминаний о голубых городах, зелени высоких тополей, и ярком нежном солнце, согревающим, дарящим тепло и мир. Он выпустил из памяти, что могло ждать его в его детстве, он напрочь выкинул из головы все, что было тогда. словно это была материализовавшаяся сказка, он и видел ее, как сказку, особенно первые дни.

Ты качаешь головой, ничего подобного, утверждаешь ты, он все знал, да он жил лучше тогда, в те времена, вернее его семья, а по окончании страны, он вынужден был перебиваться случайными заработками, нет последнее время ему платили очень даже хорошо, он строил планы.

«Планы на прошлое или на будущее?» — спросил я. Лена долго молчала, осторожно коснулась моего плеча. Отвернулась. Видимо, только теперь все понимая, все их былое и безнадежное ожидание грядущего, которое для дяди Миши, просто Миши, все равно оказалось в былом.

Ее любимый бежал этого мира, потому как он виделся куда отвратительней прежнего. Но почему не в другую страну? — «Я говорю за весь этот мир, — немедля ответила ты, вцепляясь и поворачивая меня так, чтобы неотрывно смотреть в глаза. — За весь в целом. Он не любил тот гниющий шмоток мяса, что остался из распада нашей страны, он очень болезненно пережил происшедшее за прошедшие десять лет, и — ведь с подводной лодки никуда не денешься — каким-то образом нашел другой способ, не деться, но отойти. Я слышала от него много нелестных слов в адрес и нашей страны, и соседей и друзей и недругов. Я думала, он изменится, ведь я не такая, я умею приспособливаться». — «Вот только он не сумел, — ответил я за него, — и решил и тебя оставить здесь. Раз не смог эмигрировать туда, откуда можно послать хоть какую-то весточку».

Возможно, у него не было иного выхода, ведь он всегда, я знаю, он так сильно... — последняя попытка что-то доказать, кому — разве что самой себе, последняя и бесполезная. Никому ничего. Ты замолчала на полувздохе, оборвав пустую фразу, отодвинувшись на самый край. Я понурил голову, снова вспоминая дядю Мишу, тогдашнего, моего дядю Мишу, ушедшего в небытие и в небытии и оставшемся.

На этот раз вспомнить не удалось. Моему внутреннему взору предстал молодой человек лет тридцати, в голубой майке и белых джинсах, стоявший на пороге полуразрушенной избушки, и что-то беззвучно говоривший невидимой собеседнице, стоявшей за камерой, и объяснявшего настройки цифрового фотоаппарата. А затем подошедшего к ней, поцеловавшего и показавшего как это делать надобно, и ей и на ней, ведь она так любит фотографироваться — следующий кадр как раз показывал Лену на том же самом месте, сидевшую на покосившемся крыльце. «Он сказал, что если крыльцо развалится, он за последствия отвечать не будет, так и знай», — почти беззвучно сказала ты, порвав еще одну нить, прежде столь прочно связывавшую меня и молодого человека на снимке.

Наверное, это его посыл заставил меня отправиться в свое бесконечное путешествие в поисках... пожалуй, трюеточия тут мало. Я и сам не нахожу ответа на простой, казалось бы заурядный вопрос, чего же ищу в жизни. Дядя Миша, а знал ли он сам? Или переложил свою тяжесть на меня, едва повстречавшись, едва протянув руку для пожатия, уже этим передавая мне эстафету, не окончившуюся и по сей день, кажется, вообще не имеющую возможности прекратиться. Свою неустроенность, душевную пустоту, он отправил в прошлое, к прежним своим ожиданиям, надеждам и радостям маленького большого человека. И, так уж получилось, что забрал их у меня. Мы сами не поняли, что произошло вслед за рукопожатием, просто так получилось. Так вышло, что соломинка переломила хребет слона, одного из трех, державшего мироздание, и мир немедленно, и снова, пришел в движение, утягивая меня за собой в образовавшийся

вакуум, который я сколько уж лет тщетно пытаюсь заполнить.

Лена мне в помощь. Но и она растеряна, смущена, оглядывается по сторонам, внезапно замечая свою наготу, подтягивает к горлу измазанную винной кровью простынь, сжимая так сильно, словно пытается себя задушить. Смотрит на меня и ждет, чего, ни один из нас не может дать на это ответа. Как потерявшие дети, мы держимся друг за друга, в ожидании момента, когда лодку перестанет бросать по волнам памяти, когда волны утишат свой бег, и челн сможет пристать к потерянной гавани. И только оказавшись в воде, понимаем, что этого не произойдет. Уже никогда.

Мы встретимся еще четырежды, ты еще не раз задашь мучивший тебя все это время вопрос: почему же он взял эту карту, не имея возможности ее просмотреть. Или все-таки взял с собой некое устройство, из-за которого, быть может, и оказался в лагере под Новосибирском — ведь это же неслучайно, просто так ээка вблизи Академгородка не поселяют. Я не знал, что тебе ответить, отмалчивался или переводил разговор на другое. Раз пытался поговорить о нас, но ты уже все поняла, а потому поспешила своим телом изменить мои намерения, как последним не перебиваемым аргументом в соперничестве. И я поддался, замолчал и не заговаривал более. Лишь когда мы виделись в последний раз, уже без страстных объятий и поцелуев, попросил проводить до автовокзала, время удобное, да и по пути. Ты обещала и не обещала, и не зная, ждать или нет, понимая, но не решаясь признаться себе в этом, я подошел к магазинчику фототоваров у кассы.

И теперь я снова стою перед экраном монитора и заморожено смотрю на заставку, камера движется в кирпичном лабиринте, обходя препятствия, минуя тупики, иногда тыркаясь в них и возвращаясь обратно, чтобы снова и снова блуждать в поисках чего-то неведомого, на сей раз безо всякого моего участия. Я лишен возможности остановить это блуждание, ибо лабиринт находится за стеклом витрины, в павильоне технический перерыв полчаса, мне остается лишь созерцание стен в ожидании

приближающегося объявления о завершении посадки. Я все еще жду, сознаю напрасность, но жду до последней минуты. Ты получила от меня синий кусочек пластмассы, все, что я мог подарить тебе материального в напоминание о наших встречах, мой кошелек памяти облегчился на несколько десятков граммов, и когда звучит последнее предупреждение, автобус гудит, понукая замешкавшихся, я забегаю внутрь. Оглядываюсь на опустевший тротуар, поправляя ремень сумки и прохожу к свободному месту. Мелкий дождичек закрапал, говорят, уезжать в дождь, хорошая примета, что же, пусть моим делам на новом месте поспособствует переменчивая удача.

Дверь с лязгом захлопывается, автобус дергается. Я все не отрываю глаз от уходящих строений вокзала. Чей-то силуэт промелькнул возле окошечка кассы, отсюда уже ни не разобрать, кто, но мне почему-то думается на тебя. Просто хочется в это верить. Я поворачиваюсь, и закрывая глаза, оглядываю свою карту памяти. А затем аккуратно отделяю от нее самый затрепанный, самый износившийся кусок, ту часть, что покидаю, и в этот раз навсегда.

конец августа – начало сентября 2010

ПАРИТ...

Парит. Солнце яростно светит в блеклом небе, ослепляет; мучает жара и жажда. Поток автомобилей все не иссякает. Я смотрю на остановку до которой мне осталась еще половина улицы и снова вдаль, туда, откуда должен выползти автобус.

В небе издевательски зависли два едва заметных облачка, ближе к линии горизонта. Трудно поверить, чтобы они могли создать хоть какую-то тень. Затерявшиеся создания в огромной массе антициклона, месяц висящего над городом, придавившим и его и окрестности на несколько сотен километров вокруг к земле, задушившим непрекращающимся зноем.

В лицо бьет смесь выхлопных газов, обжигающая легкие. Еще один ряд машин пролетел, еще, следом грузовик и поодаль,

две легковушки. За ними вроде бы никого. Можно перебежать. Я успею.

Успел. На остановке ни души. Кроме нее, конечно. Она сидит на выщербленной лавочке, от которой одна доска и осталась и смотрит себе под ноги. И все же, едва я подхожу, тотчас же поднимает глаза. Вымученно улыбается. Я сажусь рядом, чувствуя горячие волны, идущие от ее тела; наверняка, нечто подобное ощущает и она. И еще чуть-чуть отодвигается.

— Жарко, — едва слышно произносит она, поворачивая ко мне лицо, посеребренное бисеринками пота. — Ты не видел, автобуса нет?

Качаю головой. Остановка концентрирует в себе зной и угарные газы проносающихся автомобилей, но встать и выйти из жалкой тени еще хуже. Вокруг голое поле. Остановка брошена посреди пустыря, поросшего пожухшей пыльной травой.

— Ты давно сидишь?

— Минут десять... наверное. Не взяла часы, — она показывает обнаженные до плеч руки — легкий зеленый сарафанчик прилип к разгоряченному телу.

— Куда-то спешишь?

— В институт, — я молчу, не зная, что спросить еще, и она, как бы извиняясь за свой успех, за мое поражение, добавляет: — Надо проштамповать зачетку.

Экзамены позади. Их пять, еще две курсовых и семь зачетов. Обычное число, я не знаю, верю на слово, так говорит она.

Она заметно устала. То ли он жары, то ли он завершившейся два дня назад сессии. Лицо похудело, под глазами собрались тени. Она измученно смотрит на меня, а в самой глубине глаз я вижу едва заметные искорки. Все позади, до сентября, можно ни о чем не думать, она на втором курсе.

Пот тяжелыми каплями выступает на лбу, над верхней губой, волосы липнут к лицу, она не смахивает их, лишь изредка тряхнет головой.

— А тебе куда? На работу?

— Нет, — разговор идет с трудом. Обычно меж нами всегда

найдется тема для беседы, но сегодня не тот день. Обещали тридцать, а когда я собрался выходить, уличный термометр зашкалил вовсе. Но это на солнце.

Вообще надо заглянуть к знакомым в контору, они кое-что обещали для меня сделать. Но это не к спеху. Я рад, что встретил ее здесь.

– Не против, если я тебя провожу?

– Нет, – она снова встряхивает головой, точно возражая самой себе, – конечно нет. Напротив...

Автобус, наконец, подходит, но не тот номер, что ей нужен. Значит и не мой тоже. Когда двери захлопываются, она неожиданно спрашивает:

– Ты правда никуда не спешишь?

– Специально спросила, когда автобус ушел?

Она улыбается и, не в силах сдержаться, смеется. Смех у нее заразительный, на несколько мгновений кажется, что и жара и смрад, мучившие нас куда-то исчезли.

– Если честно, то я специально все бросил. Ты сегодня как?

Она качает головой, затем произносит:

– Не получится.

Подходит другой автобус – зачуханный «лиазик» с незакрывающейся задней дверцей. В салоне она молчит, даже если мы одни. Вопрос повисает в воздухе.

Она говорила недавно, что в июле останется дома, в городе. Надеюсь, у нас будет еще не одна встреча, не один разговор. Чтобы еще раз доказать ей, то что она и так уже тысячу раз слышала от меня. Попытаться выиграть. У другого, у ее матери. Та недолюбливает меня, особенно, после того, как я провалился на вступительных и теперь работаю на каком-то складе. Меня устроил туда знакомый, еще одни минус для ее матери.

Зато появился другой. Он давно на примете у матери – живущий в соседнем доме молодой человек с симпатичной родословной. Теперь она встречается с новым кавалером. Я видел их два-три раза вместе, гуляющими степенно в парке. Больно, конечно, но было в нем что-то, за что может зацепиться беспокой-

ное девичье сердце. Этого я не мог отрицать. Слабым утешением остается то, что ритм наших встреч после ее знакомства с молодым человеком с родословной почти не изменился. Хотя последнее время мы не так часто встречаемся.

— Давай выйдем сейчас, — она произносит эту фразу мне прямо в ухо, слова доносятся с ее горячим дыханием, — пройдем через черный ход.

— А вахта?

— Летом ее нет точно.

Автобус открывает двери, мы сходим на такой же пустынной опаленной зноем остановке. За разросшемся бурьяном, угадываются приземистые здания института.

— Нам сюда, — она проходит по незаметной тропке вниз, врывается в кусты, на миг исчезает из глаз. Тропка вьется дальше, мгновение, и заросли обрываются, являя взглядам коробку недостроенного стадиона. Когда-то, еще до поступления в институт, мы гуляли тут или сидели обнявшись, дожидаясь захода солнца.

Она берет меня под руку, и дальше мы идем вместе. Голова ее клонится к моей, волосы смешиваются. Я чувствую запах ее разгоряченного тела.

Тропинка прерывается рытвиной, заполненной водой — из люка течет ручеек воды, петляя, пересекает нам путь. Она останавливается, смотрит на меня, затем себе под ноги, говорит, сконфуженно:

— Напрасно я вытащила нас здесь.

Я молча беру ее на руки. Господи, как давно я не держал ее в объятиях! Я чувствую ее легкое дыхание на моей щеке, руки обвивают мою шею, она прижимается ко мне. Я делаю первый шаг, стараясь не уронить эту драгоценность.

Еще несколько шагов, и я осторожно и неохотно опускаю ее на землю. Она целует в щеку, проводит ладонью по ней, стирая следы помады: такой знакомый в недавнем прошлом жест.

— Обратно все равно пойдем так же, — говорю я, она молча соглашается, но на этот раз на ее лице нет улыбки. Мы спускаемся ко входу в спортзал. Мимо пустой кабинки вахты идем

по узкому коридору, стены которого покрыты потеками и плесенью. Слышно, как где-то капает вода. Вновь поднимаемся и по новому переходу проходим в другой корпус, принадлежащий уже ее факультету.

Вновь поднимаемся. Все это время она молчит, не выпуская мою руку, будто боясь, что, едва расцепившись, мы сможем потеть друг друга.

— Давно я здесь не был, — банальная фраза гулко звучит в пустоте института. — Хорошо, хоть прохладно.

— Да, не как на улице, — она отчего-то нервничает. — Вот мы и пришли. Подожди меня здесь.

Трижды стучит в дверь и скрывается за ней. Оставшись наедине, я рассматриваю доску объявлений, списки отчисленных, расписание приема переэкзаменовок, и еще множество подобной информации. Не понимаю, почему меня щемит тоска. Я вздыхаю и пристраиваюсь на кособоком стуле напротив двери, что несколько минут назад поглотила ее.

Мимо проходит преподаватель, завидев меня, он интересуется, не к нему ли я пожаловал; мне остается только покачать головой. Он заходит в соседний кабинет, открывая его своим ключом и оставляет дверь полуприкрытой.

Спустя еще какое-то время с лестницы доносятся легкие шаги, миловидная девушка останавливается подле меня и спрашивает:

— Фальк у себя?

Мне становится смешно: как-то незаметно для себя я оказался втянутым в институтскую жизнь. Я киваю головой и говорю:

— Только пришел, — и оказываюсь прав, девушка проходит к тому самому кабинету, в который зашел задавший мне вопрос преподаватель.

Наконец дверь, та дверь, нужная мне, раскрывается. Она выходит, привычно встряхивая головой и облегченно вздыхает. Все, дело сделано.

— Хорошо, зам декана оказался на месте, — она показывает зачетку, под главкой «второй семестр», исчерканной записями

сданных зачетов слева и экзаменов справа красуется увесистый треугольник печати.

– Ну что, пойдём? – спрашивает она.

– Ты куда сейчас? – снова вопросом на вопрос. У нас всегда так. Она садится.

– Вообще-то домой, – и замолкает.

Некоторое время мы молча сидим в тишине коридорчика.

– Ты никуда не торопишься? – это уже она у меня.

– Совсем никуда

– Я устала, – после долгой паузы произносит она, возвращая у меня зачетку, которую я так и не смог рассмотреть. Снова пауза. Я медленно говорю:

– Может, посидим в буфете? Могли бы отметить твой переход.

Она машет рукой, не давая мне договорить. Слишком скользкая тема. Мне кажется, она хотела бы слышать от меня другое местоимение.

– Лучше просто посидим. Очень уж жарко.

– Да. Жарко, – соглашаюсь я.

Она вздыхает и снова стряхивает с лица налипшие волосы. Я смотрю на нее, но не произношу не слова. Коридорчик мягко обволакивает тишина. Только негромкое шуршание голосов за соседней дверью доносится до нашего слуха.

11-12.6.99

ЧЕРНОЕ БЕЗМОЛВИЕ

Вечером снова зашел к ней.

– Не ждала, – лицо немного растерянное, покусывает губы, стоит на пороге, преграждая путь. – Я ведь и на работе могла задержаться, что не позвонил?

– Не знаю, – привычно коснулся лица, отбросил прядь волос, все время закрывающее левое ухо. Обнажилась невыразительная серебряная клипса со стразом; украшения она всегда снимала, вместе с одеждой. – Хотелось тебя увидеть. Соскучил-

ся.

— Ты быстро. Проходи. Что у тебя нового за эти полдня прошло? — она попыталась улыбнуться, мелкие зубы мелькнули и исчезли за ярко-алыми губами. Пальцы коснулись протянутой купюры в пятьдесят евро и тотчас пропали за спиной. Затем принялись теревить верхнюю пуговицу рубашки.

— Ничего, — вошел, не оглядываясь, присел на кровать. Она оказалась рядом, обняла. — А у тебя что?

— У меня много чего было, — целуя шею, она замерла на мгновение. — Ноги что-то устают, да вот после обеда клиентки пошли привередливые. Вот одна...

Я сидел, бездвижно наблюдая за ее действиями, слушая поток слов, едва понимая, что она говорит. Мне нравился ее голос, ее дыхание на шее, тепло ее тела. Даже деловитость, с которой она стаскивала мои брюки.

Оставаясь одна. Мара редко зажигала свет, предпочитала сумерничать. И когда ночь, черная, густая, затапливала комнаты, все равно сидела, слушая радио или смотря телевизор. Как только щелкал замок, я возвращался с работы, она неслышно подбиралась и тихонько обнимала. Когда-то еще в первые дни знакомства, я рассказал ей, как долго боялся темноты, да и до недавнего времени с некоторой опаской заходил в неосвещенную комнату, — теперь она так пыталась изгнать все мои страхи. Вначале я вздрагивал и отшатывался, но потом прижимал ее к себе, целовал в лоб и только после этого зажигал свет. Если только...

Мы всегда делали это в темноте. Свет разрушал иллюзию, говорила Мара, незачем ему это делать. Она помнила, как это не получалось в номере гостиницы, тогда в самом начале, потому и привнесла маленькую тайну в нашу жизнь.

Мы познакомились в Комо, куда оба приехали в командировку, она из Генуи, я из Турина. Наша компания представляла городу проект тоннеля под Альпами, группа Мары занималась раскопками подле самой Монте-Кроче, надеясь отыскать храм Юноны, о котором поминал в своих заметках Плиний-младший. Старинный город, зажатый между горным кряжем и озером, вот уже

больше двух тысяч лет находился на торговом пути из Ломбардии в Галлию. Она пришла на нашу конференцию – археологов больше всего интересовало, где пройдет новая трасса, не заденет ли отроги горы, где до сохранилось немало памятников ветхозаветной старины. Мы долго сверяли документы, нет, обошлось. А потом у нас возник, вообще непонятно, почему, разговор о последних днях Муссолини, которые он провел в том числе здесь, пытаясь бежать в Германию. Нет, понятно, ведь стараниями дуче Рим очистился от средневековых построек, стал таким, какой мы его знаем ныне. Двое иноземцев с воодушевлением полночи спорили о роли Муссолини в итальянской археологии, простившись под утро, и снова встретились следующим днем. Уже с другими намерениями и словами. Мне что-то снилось тогда, теплое, нежное, воздушное. Словами не объяснить, надо увидеть. Я поспешил к Маре.

Настоящее имя, Марина, ей никогда не нравилось. Это правда, ничего морского в Маре не было, скорее, напротив. Черные глаза, черные волосы, асбестовая кожа. Предки были вывезены из Эфиопии еще в середине девятнадцатого века, для забавы генуэзских господ. Она не утверждала наверное, руководствуясь только рассказами прабабушки, которую застала совсем маленькой. Сколько в ее жутковатых историях было правды, сколько сказки, трудно сказать, прабабушка в те годы жила наполовину в другом мире, а документы, по которым можно бы воссоздать историю семьи, давно исчезли. Впрочем, она, любительница прошлого, вовсе не из желания узнать о своей истории, выбрала археологию профессией, первостепенными оказались другие причины, глубоко личные, которые она старалась не трогать – до сих пор больно. Раз только, узнав, что я как раз происходил из расы господ, спросила, много ли у моих пращуров имелось крепостных. Я пожал плечами, немного, душ двести, которые потом отобрали подлые Репнины еще в восьмидесятых. Мара странно на меня глянула, я обнял девушку, прижал. И неожиданно произнес:

– Но кому-то же надо расплатиться за грехи, – имея в виду

свое тогдашнее положение помощника инженера, дававшего сметное жалование и койку в общежитии. Это потом, через десять лет, я вырос настолько, что меня стали брать на значительные мероприятия, а тогда...

— А мне повезло, — вдруг произнесла она. — На втором курсе я попала к профессору Джанини, а он... — немного помолчав, прибавила. — Вот теперь своя группа, объект раскопок, грант и поддержка. Я еще собиралась с вами ссориться, — еще пауза, совсем тихо. — Говорят, в споре рождается истина.

— Это не наш случай, — ответил я; она рассмеялась.

— Слава богу, ты прав, — и ткнула в плечо.

В тот день мы долго гуляли по набережным и когда уже совсем зачернело, вернулись в мой номер, пробуя первый раз наши отношения и почему-то спеша. Будто отработывая положенное. Может из-за этого и не получалось, а потом, последующие разы в гостинице, все повторялось как заезженная пластинка. Поначалу мне так и думалось. Тем более, со мной подобное случалось впервые. Не принуждение, нет, но непонятный холодок по телу и постоянное отвлечение. Я старался забыть в ней, я закрывал глаза, слушая ее шепоты и стоны. Помогало мало. Целуя ее груди, лаская бедра, пробегая пальцами по лону, я будто совершал вызубренные когда-то действия, с педантичностью школьника, мало понимавшего предмет, который необходимо сдать на отлично.

Тогда Мара бралась за любовь сама, пытаясь оживить, стремясь расслабить... позже мы сидели, обнаженные на кровати. Обнявшись, долго молчали. Она гладила мою грудь, я совершенно отстранившись, глядел на экран гостиничного телевизора, пустой и черный. Не смея даже себе произнести очевидное.

Через день, после новых бесплодных усилий любви, я снял шлюху. Не странно, что помогло, когда-то именно так начался мой путь мужчины; в семнадцать лет и на спор. Зато почувствовал ту уверенность, которая и может внушить двадцатипятилетняя женщина пацану; не один раз я ходил к ней, именно к ней, возвращаясь домой глупо счастливым. Так и сейчас, с блаженной

улыбкой вернулся в гостиницу, позвонил Маре. Она все еще находилась на раскопе, ждать пришлось долго. Но не напрасно; помню она все спрашивала, не злоупотребил ли перед встречей какой химией. Я молчал, улыбаясь довольно. Она искристо улыбалась в ответ. Может быть, все понимая, но зная наверняка и то, насколько важна для меня, да для нас обоих эта взаимность.

Лену я никуда не отпустил, пусть телефон трезвонит, ее рабочий день окончился. Мы лежали, обнявшись, она медленно гладила коленом мое бедро, я ласкал ее грудь. Постепенно приходили в себя, возвращались в привычный мир. Лена вернулась первой, заговорив о работе. Зря не дал ответить, сказала она, дотянувшись, наконец, до мобильного, звонила подружка с фирмы, наверное, что-то срочное.

— Ты занимаешься куда более важным, — она засмеялась, искренне счастливая. Я посмотрел в потолок, потом ткнулся в шею, начал целовать.

— Мой мэтр, — шепнула она.

Вот странно, я знал, все, что она сделает или скажет в следующие минуты. Как поведет себя, что ответит на мои возражения. Сейчас ей необходимо выкурить, она бросает уже два года, но после секса сам бог велел, снова заезженная пластинка ее фраз, которая, вот ведь, никогда не надоедала. Мне нравилось в ней и это. Я полностью погружался в нее, в ее предсказуемость, очевидность, в не слишком умелую страстность. Она всегда отдавала верховенство в любовной игре мне, видя в том залог наслаждения, что я отдавал ей по каплям, выцеживая из себя те остатки, что мог донести до нее. И все равно приходил, понимая, как странно это выглядит со стороны, как глупо, как смешно. Мне нравилось... тоже глупо, Лена мне была нужна.

А вот это уже серьезней.

После окончания командировки, мне пришлось возвращаться. Мара оставалась на раскопе еще месяца два с лишком — они нашли фундамент дома, но к сожалению, имя владельца обмануло. Некий торговец Гораций построил свою богатую хижину только в начале шестого века. Значит, храм либо разобран

по кирпичику, либо находится в другом месте. Впрочем, и этот дом мог прятать сюрпризы, да и Мара не привыкла бросать начатое. Не в ее характере, она умная женщина и привыкла докапываться до сути вещей. И как мудрая, только потом засыпала землей.

Я не раз просил ее назначить дату свадьбы, она отшучивалась, напоминая об итальянских законах, мало изменившихся с времен Виктора-Иммануила, даже фильм «Развод по-итальянски» почти ничего не изменил в этой процедуре.

— Но ведь мы не собираемся расходиться, — возражал я. Она кивала, но продолжала гнуть свое:

— Обо всем надо подумать заранее.

И только позже, когда снова не заладилось, предложила поехать в Швейцарию и зарегистрироваться уже там. Отчасти ей странно было мое желание узаконить наши отношения, будто я боялся чего. Нет, конечно, но мне казалось, наша любовь без этого не будет полной, вернее, то, что я называл любовью, может ускользнуть. Хотя да, многие живут в гражданском браке, обмениваясь страховками, на случай чего. А мне было важно дать Маре еще что-то, кроме своей неуверенности, которой я так стеснялся и стыдился. Некую надежность, будущность, дать понять, что я с ней, несмотря на любые законы, до конца, что бы ни случилось. Когда я говорил об этом, голос дрожал, подрагивали пальцы. Слова слышались как произносимые со стороны. Но нет, без Мары я действительно не мог. Понял это почти сразу — оказавшись не в силах оставить ее. Как и она меня. И это было той правдой, в которую нам обоим истово хотелось верить.

Вскоре, я переехал в Милан, когда работаешь на транснациональную компанию, это совсем не сложно. А затем из Комо вернулась Мара: экспедиция закончилась, наступило время изучения собранного материала. В университете ей гордились, при случае и без ставя в пример: несколько монографий и две популяризаторские книги о быте Рима и верованиях поздней империи тому подтверждение. Я шутил, что мог бы забросить свои изыскания в пользу ее, — Мара получала в полтора раза больше,

чем я. Хотя, мы никогда не мерили наши взаимоотношения в евро; деньги сваливались на общий счет. Какое-то время мы говорили о непредсказуемом будущем нашем, как его называла моя возлюбленная, но потом разговоры утихли. Ребенка она не хотела, во всяком случае, не сейчас. Были причины, — один аборт и затем, выкидыш, — чтоб не торопиться с беременностью. У меня за спиной так же не имелось потомства, и хотя жизнь упрямо вела стрелки к сорока, мы пока не загадывали. Нам редко когда приходилось вглядываться в горизонт, разве что по работе. И то в разные стороны. Я вперед, рассчитывая и пытаюсь планировать постройку первой фазу тоннеля, она назад, погрузившись в артефакты дома Горация.

Наверное, когда встречаешься с любимой только два раза в неделю — она уходила раньше меня, я возвращался позже, так что нам принадлежали в лучшем случае выходные — поневоле возникают недомолвки, скапливается непонимание, растёт расстояние. Мы жили в темноте, она уходила до света, я возвращался ближе к полуночи. Безмолвие окружало нас, безмолвие и чернота. В которой мы будто начали разъезжаться по своим городам. Как первый признак — у меня снова засбоило. Нет, не так, я нашел ту, с которой мне оказалось проще переагрессироваться, переждать, перетерпеть.

Лена приехала в Милан к родным дяде и тете, да так и осталась, сперва по туристической визе, потом подала документы на получение постоянного места жительства. Теперь ждала ответа, работая на полставки в салоне красоты. Я пришел выбирать подарок на годовщину, так и познакомились. Заурядная внешность: каштановые волосы, которая она, двадцатипятилетняя уроженка Винницы, зачем-то осветляла, полная грудь, невысокий рост. Кажется, именно такая мне и нужна была в те непростые дни. Трудно даже самому себе, сказать, зачем, приходилось придумывать сложные оправдания; для нее об усталости от долгого брака, для любимой о..., но Мара не просила объяснений.

В часы близости, мы чаще молчали, или говорила она, рассказывая про свое житье на Украине, про тех, кто остался, про

тех, кто здесь. Про клиенток и их жизнь и куда реже про свою. Называла меня мэтром, кажется, не до конца понимая значения этого слова, и просила еще. Кроме близости нас ничего не связывало, вот это и давало наибольшее отдохновение — и душе и телу. Да и Лена не претендовала ни на что большее, скорее, не надеялась. Как и я старался случаем не обнадежить девушку.

Впрочем, она все равно спросила. Когда я собирался, вышла в коридор, гордо именуемой прихожей ее крохотной квартирki, которую она снимала невдалеке от салона, квартирki больше похожий на дешевый гостиничный номер, неожиданно впиалась губами, обняла. И сказала.

— Я хотела, чтобы ты не уходил.

Все равно прозвучало как вопрос. Я покачал головой.

— Не смогу.

— Тебе так важно быть с ней? Несмотря ни на что, — снова качание головой, слова в этот момент мне давались с трудом.

— Дело, скорее, в нас.

Она подошла к трюмо, долго глядела не то в отражение, не то разглядывала простую окантовку амальгамированного стекла. Наконец, произнесла:

— Хорошо. Завтра ты позвонишь...

— Я приду.

— А вдруг меня не будет...

— Дождусь, ты же знаешь, — разговор не выходил за рамки обычного, а потому давался легко. А затем и нам полегчало, Лена обняла и поцеловала меня на прощание, снова назвав «мэтром», я улыбнулся и медленно спустился вниз, не пытаясь дождаться скрипучего лифта.

Мара уже вернулась, но еще не спала, несмотря на поздний час. Загасив свет, поджидала меня. Четверг, она устала, целый день провозившись в лаборатории, ничего не клеилось, как и у меня сегодня, она соскучилась, ее глодало изнутри.

— Наверное, мы все делаем неправильно, — тихо произнесла она, даже не пытаясь обнять. — У нас не было медового месяца.

— Был, ты запаматовала.

— Значит, требовался медовый год. Или больше, — вдруг резко ответила Мара. Вздохнула. Провела ладонью по щеке, я перехватил ее руку, прижал к себе, принялся поглаживать пальцы.

— Знаешь, я давно заметила вот это, — вдруг тихо заговорила она, — Твои жесты, твои... Ты даже в ванной пытаешься очистить меня от меня самой же.

— Ты чиста, — меня перетряхнуло от ее слов.

— Именно, — все видела, все знает. — Но ты не можешь видеть меня такой, а я не могу стать инаковой. Ну разве что превратившись в Майкла Джексона. Скажи...

— Нет, даже не думай так.

— А что мне думать. Ты все время уходишь, не в себя, так к другой, — она знала, конечно, не могла не понимать, что происходит. — Ты ищешь свои пути, а я жду, когда они закончатся. Я здесь, милый, я жду тебя, — еще тише произнесла Мара. — И я люблю тебя... все равно люблю. Прости, но во мне говорит отчаяние. Мне кажется, это никогда не завершится, ни твои попытки найти обходной путь, ни... Ты понимаешь, как изводишь и меня и себя? Разрушаешь нас обоих. Неужели у тебя не получается иначе.

Я долго молчал, не глядя на нее, в темноте это так легко сделать. Потом ответил:

— Я хотел бы отдать тебя всего себя. Но не получается. Только частями. Я не привык.

— Ко мне?

— К себе. Я никогда не чувствовал прежде чего-то подобного. Прости, милая, мне так трудно высказать это даже себе самому.

— Тогда попробуй хотя бы не лгать, — тихо сказала она. Я медленно кивнул. Мара наконец, обняла меня.

— Попробую. Ты простишь меня.

— Я не могу сердиться на меня. Мое сердце может, но не я.

Хотелось плакать, но не было сил. Мы молча прижимались друг к другу, дожидаясь окончания ненастья. Ведь рано или поздно оно должно прекратиться. Ведь ничто в природе не вечно.

Даже четырехсотлетняя засуха в Атакаме.

Следующим вечером я снова оказался у Лены. Мы лежали в постели, кажется, впервые одетые. Молча глядели в потолок, думая каждый свои думы. У нее снова болели ноги, слегла кас-сирша, так что приходилось работать за двоих, вот и загоняли покупательницы. А еще, мне кажется, она не хотела видеть меня. Только говорить. Вместо телефона, она использовала потолок, пустой, с пузырями штукатурки, от него отражаясь, до меня доходили ее слова.

— Ты наверное, прав, когда сказал вчера, что мы не можем быть друг с другом. Я подумала вчера, сегодня. Все верно. Мы оба вампиры.

— О чем ты? — я думал, она скажет доноры.

— А вампиры не живут вместе. Не могут жить, я читала одну книгу на эту тему. Все, как у нас там и написано. Каждый пытается высосать из другого жизненные силы, а не получается. Я беру у тебя твою силу, ничего не давая взамен, а ты. — она помолчала мгновение, — ты берешь меня, когда захочешь, не предупреждая, не спрашивая, а затем уходишь, оставляя одну. Мы одинаковы, а потому не можем быть вместе. Все как написано в книге, — повернувшись, наконец, ко мне, произнесла она. В глазах стояли слезы. Или мне так хотелось их увидеть?

Я медленно поднялся, сел на кровати. Она следом, тяжело оперевшись на мое плечо. Снова молчание. Наконец, я произнес что-то вроде «мне пора» и начал собираться. В прихожую она вышла только закрыть за мной дверь. Но все равно не выдержала, какое-то время стояла у полузакрытой двери, смотря как я исчезаю на лестнице. И только потом щелкнула замком.

Выйдя на улицу, я достал мобильный, огляделся, отошел еще, окна квартиры Лены выходили на другую сторону, но я все равно прошел переулок, прежде чем решил позвонить.

Гудков было немного, два или три. Она разорвала их наступившей тишиной, в которой и было слышно потрескивающие как угли в костре, электрические помехи на линии.

— Я возвращаюсь. Ты примешь меня? — такие слова принято

говорить в глаза, но я не мог, не решался. Снова молчание и темнота, тьма и молчание. Я вдруг почувствовал себя пустынным в заброшенном городе.

– Конечно. А ты точно возвратишься ко мне?

– Я... обещаю, – голос подвел. – Обещаю, – добавил более твердо. – Как бы ни случилось, чтобы ни вышло...

Она не слушала. Не стала. Просто ответила:

– Я потушу свет и буду ждать.

Гудки потонули в почерневшей коробке мобильного. Я долго стоял, прежде, чем сделать хотя бы шаг, так долго, что заныли ноги. Ссутулившись, стараясь смотреть себе под ноги, отправился туда, где меня ждали два черных окна на втором этаже.

3–5 октября 2016